

МАГИЯ  ФЭНТЕЗИ

Екатерина КАЗАКОВА,
Алена ХАРИТОНОВА



НАСЛЕДНИКИ
СКОРБИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА

Annotation

Вот и захопнулись за Лесаной и Тамиром, теперь уже опоясанными обережниками, ворота Цитадели. Остались позади пять лет злой учебы, которая стесала с душ и юность, и наивность, и жалостливость. Нет больше застенчивой деревенской девушки и простосердечного сына хлебопека, как не осталось их дружбы. Есть ратоборец и колдун. А впереди их ждет тяжелая жизнь Осененных, тех, кто защищает людей от Ходящих в Ночи. Но пока... пока обережники впервые за долгое время едут домой. Увы, они не подозревают, что роковая череда событий, которая, как нить из клубка, потянет за собой все новые и новые скорби, — уже запущена.

Алёна Харитонова, Екатерина Казакова

Наследники Скорби

Авторы выражают глубочайшую благодарность за помощь в работе над текстом своим друзьям и читателям: Алексею Ильину — за строгость и деликатность, Галинке — за внимательность и такт, Лиске — за несгибаемость и умение говорить горькую правду в лицо, Ашвине — за бесподобное стихотворение-песню и за то, что оно получилось еще лучше предыдущего, Лене (Chelcy) — за ценные замечания и помощь в отсечении ненужного, а также всем френдам с СИ, которые искренне полюбили выдуманный нами мир.

Друзья, спасибо вам за поддержку и понимание!

Пролог

Ослепительный свет пролился в землянку.

Яркий, палящий, он выжег глаза, заставляя выть от боли, корчиться, скулить.

Больно!

И тут же молнией в голове: «Охотники!!!»

Дикий ужас поднялся из живота к горлу, подпрыгнул тугим комком, а потом упал обратно. Волна жара. Выступивший пот. Все быстро. По-звериному быстро.

Вскочить и ринуться в слепящее марево. Не видя, не в силах разомкнуть веки. Прыгнуть только на звук, на запах.

Человек!

Рассыпаться яростным рыком и... захлебнуться хрипением, болью, кровью. Налетел на железо. По брюху стекает горячее, липкое. Нутро полыхает огнем. И тут же запахи, звуки — все навалилось. Визг щенков, рык и хрип погибающей Стаи.

А когти жалко скребут утоптанную землю. Только бы встать! Я поднимусь, поднимусь. Ты сам кровью захлебнешься. Я встану, вот увидишь. Скотина! Поднимусь.

Но прежде — ползти. Ползти на звук. На слабое поскуливание. Где ты, родная? Ничего не вижу. Ползти на запах — ее запах! Пересохшим широким языком лизнуть окровавленную оскаленную морду.

Я здесь, очнись, очнись... Я тут. Родная моя.

Ярость. Ох, какая ярость! Кто бы знал, откуда силы взялись.

Прыгнуть, вспахивая залитую кровью землю.

Разорву тебя, убью тебя, тварь жестокая! Зачем их? Щенков зачем? Ее зачем? До глотки доберусь. Сдохну, но доберусь. Убью тебя, тва...

Огромный, истекающий кровью волк тяжело прыгнул. Фебр взмахнул мечом и перерубил зверю хребет. Туша рухнула на утоптаный пол землянки. Черная кровь лилась из раны толчками.

— Здоровый какой, скотина, — с чувством сказал ратоборец, вытирая клинок о жесткую

шкуру. — Откуда в них тела столько, когда оборачиваются? Мужичонка-то был хилый, а гляди — вызверился в какого...

Тот, к кому он обращался, — облаченный в серое одеяние колдун — присел на корточки рядом с хищником.

— Да Встрешник их разберет... — Он положил ладонь на широкий лоб волколака и заговорил слова заклинания.

Ратоборец тем временем огляделся. Яркий солнечный свет, льющийся в распахнутую дверь, освещал убранство убогого жилища и безжизненно лежащих обитателей: нескольких щенков и прибылых, двоих переярков, суку и матерого.

Пока Фебр обходил оборотней, небрежно пиная ногой то одного, то другого, дабы наверняка удостовериться, что мертвы, в дальнем углу, там, где грудой была свалена меховая рухлядь, кто-то завозился.

Обережник занес меч для удара и шагнул вперед. Он уже был готов убить, но из-под обтрепанных заячьих шкурок высунулась девичья голова — кудлатая, взъерошенная. В глазах испуг, да что там — ужас.

Девка растерянно моргала, но дневной свет не причинял ей боли, не делал незрячей.

— Ты откуда тут? — шагнул к ней мужчина, убирая оружие в ножны. — Как звать-то?

Она сгребла руками пыльные шкурки, прижала их к себе и тихо-тихо ответила:

— Светла... Светлой звать. Я тут давно живу, ой, как давно...

Фебр наклонился к ней и, взяв за плечи, осторожно поднял. Девушка отводила глаза, избегая на него смотреть.

С виду ей было лет двадцать. Пригожая. Волосищи вились крупными кудрями, да только не убраны, как положено, в косу, а заплетены-переплетены нитками, веревками, кожаными ремешками, отчего вид у несчастной делался совсем неладный.

— Ты откуда тут? — снова спросил ее ратоборец.

— Не помню... Ты меня не трогай, родненький, — заплакала вдруг найдёна. — Не трогай, Хранителей ради. От тебя страданием пахнет, и смерть за спиной стоит: крылья простерла, в душу смотрит. Страшно мне!

Колдун и воин переглянулись.

— А ну-ка, — сказал наузник, — идем со мной.

И, взяв блаженную за руку, повел ее прочь.

В лесу было тихо, тепло и безветренно.

— Полян, она — в себе? Может, обращается? — спросил вышедший следом Фебр.

Полян осматривал девушку, поворачивая ее за подбородок то так, то эдак, заглядывал в глаза.

— Нет. Видать, возле деревни какой-то скрали. Сожрать, поди, хотели.

Его собеседника не особо убедили эти слова, поэтому он подошел и беззастенчиво раздвинул губы дурочки указательным пальцем — пощупал клыки, осмотрел внимательно другие зубы, покрутил девчонку, ощупывая спину, плечи, затылок.

— И впрямь не волчица, — задумчиво сказал ратоборец. — Видать, рассудком тронулась. Ты откуда, горе? Хоть помнишь — из рода какого?

Она покачала головой, не поднимая глаз.

— Чего с ней теперь делать-то? — И Фебр крикнул в сторону: — Орд!

— Да здесь я, — слышалось из-за деревьев. — Чего орешь, волколак, что ли, подрал?

— Нет. Гляди, какую пригожую сыскали. — И воин указал на застенчиво перебирающую

складки рубахи находку.

Названный Ордом подошел, положил девушке на голову теплую ладонь и сказал:

— Скаженная. Видать, зачаровали, а она рассудком поплыла. В Цитадель везти надо. Не тут же бросать. Родню теперь и не сыщем.

— Верно, — кивнул Полян, — в окрестностях бабы не пропадали. А у ней, по летам судя, дети уж должны быть. Годков-то тебе сколько, краса ненаглядная, а?

Светла подняла на него глаза — темно-карие, но с дольками пронзительной синевы, пролеглими от зрачка.

— А не помню я, милый человек. Иной раз и вспомню, а потом снова не помню. — Она виновато развела руками. — Да ты не кручинься. И ты тоже!

Блаженная повернулась к Орду, старательно не замечая стоящего между этими двумя Фебра:

— На вот, гляди, что у меня есть. — И девушка протянула целителю сосновую шишку. — Смотри, красивая какая.

Он в ответ хмыкнул.

— Полян, девку ты повезешь, — меж тем сказал Фебр.

Колдун поморщился — за семь верст киселя хлебать! Два дня по ухабам трястись с дурочкой в сопутницах.

— Фебр, может, ты сам? — спросил мужчина с надеждой.

Все же ратоборец только-только покинул Крепость, и наверняка был бы рад случаю снова там побывать. Но тот в ответ покачал головой:

— Ага, сам... Как я ее кровью мазать буду? И так вон трясется. А мне ее в обережной черте без крови не удержать.

Орд кивнул, признавая правоту этих слов. Колдуну-наузнику и впрямь не нужно руду лить, чтобы на ночлег остановиться. К чему скаженную девку страшать, она и так дрожит, словно бельчонок.

— Поехали, хватит топтаться. Ты всех упокоил? — спросил целитель у колдуна.

— Всех, кто не Даром был пришиблен.

— Едем.

Светла послушно отправилась за мужчинами, не пытаясь упрямитесь или бежать. Когда Орд посадил ее на спину своего коня, девушка вдруг вцепилась мужчине в запястье и прошептала:

— Родненький, воин ваш — не злой вроде парень, отчего же смерть с ним рядом в седле едет? — и посмотрела своими дикими глазищами на разбирающего поводья Фебра.

У Орда по спине пробежал холодок. Лекарь даже оглянулся, чтобы увидеть то, о чем говорила скаженная. Очень уж правдиво у нее это вышло. А потом досадливо плюнул — мол, поддался на рассказы убогой! — и ответил:

— Никто с ним рядом не едет. Сиди уж.

Но Светла в ответ лишь покачала головой.

Сторожевая тройка уезжала от разоренного логова, и никто не заметил поджарого переярка, залегшего за старым выворотнем.

Зверь встал, отряхнулся и устремил пронзительный взгляд зеленых глаз в спины охотникам. Видно их из-за деревьев было уже плохо, но волк все-таки заметил, как Светла, сидящая позади целителя и держащаяся за его пояс, чтобы не упасть, украдкой обернулась и помахала рукой.

Хищник переступил с ноги на ногу, словно прощаясь с девушкой, и потрусил прочь — в лесную чащу.

Тамир въезжал в родной город погожим и ясным утром.

У тына шумело многолюдство — казалось, все окрестные веси съехались на торжище. Ворота стояли распахнутыми: в них неспешно и чинно тянулись телеги с добром, верховые и пешие гости.

Люди везли то, что успели наработать за долгие зимние вечера, когда большую часть суток сидели в четырех стенах. Ткани, узорочье, горшки, ложки, веревки, меховая рухлядь — это продавалось либо выменивалось на соль, птицу, зерно, железные крицы... словом, на все — от ножа до телеги.

Колдун ехал медленно, пробираясь через могучий людской поток: пестрый, крикливый, беспорядочный...

Видя серое одеяние, народ расступался, кланялся, торопясь дать дорогу наузнику. Но тот не спешил. Лениво посматривал по сторонам, не выказывал досады или небрежения, да только все одно среди всеобщей суеты казался сошедшим на землю навием — вроде бы и человек, а вроде бы и нет.

Странник словно не замечал любопытных и опасливых взглядов, только усмехнулся про себя, услышав, как неказистая бабенка, напоминающая встрепанную галку, громко шептала стоящей подле нее товарке — дородной девке с румянцем во всю щеку: «Нешто опять из городу не выехать седмицу? В конце таяльника ведь приезжали уже за выучами!»

Молодица же всплеснула руками: видимо ли дело — при таком-то скоплении да застрянет все это людство в городских стенах, пока посланник Цитадели ищет Осененного!

И ни одна живая душа не признала в прибывшем сына пекаря Строка — добродушного, сдобного, как его хлебы, мальчишку.

Тамир все ждал — когда же дрогнет сердце? Вот улочки, знакомые до спазма в горле, вот дома, которые помнит еще с детства. Совсем не изменилась старая корчма с тесовой крышей. И дорога, мощенная деревянными плашками, тянется как прежде. А ведь пять весен прошло. Отчего же кажется город чужим и родным одновременно? Будто в душу стучится и не может достучаться память.

Вот и дом родительский. Та же околица, те же ворота, только покосившиеся, та же кровля. А старая липа за частоколом по-прежнему полощет ветвями небо...

Колдун спешился, взял коня под уздцы и постучал в просевшие створки. Как бы не рухнули, окаянные! На грохот дребезжащим лаем отозвался пес. «Надо же, жив еще», — подивился Тамир, вспоминая кобеля по кличке Звон, которого еще слепым щенком выменял на калач у соседа и тем самым избавил от участи быть утопленным.

На стук и собачий брех из дома выскочил кто-то уж больно резвый на ногу. Прошлепал к воротам, повозился с засовом...

Страннику открыл вихрастый парнишка весен тринадцати-четырнадцати, следом за которым, опираясь на кривую палку, вышел... отец. Сын смотрел и не узнавал в согбенном дряхлом старце того, кого помнил еще крепким, полным сил. Сердце не дрогнуло. Лишь рассудок настигло, наконец, запоздалое понимание, что дома не был очень давно. И, верно, таким же изменившимся, каким ему показался отец, видел его и сам Строк. Потому что он близоруко щурил слезящиеся глаза, смотрел на гостя внимательно, но без узнавания. Мальчишка же держал хозяина дома под локоть и пялился на колдуна, забыв о почтении.

Обшаривал взглядом серую одежду, запыленный плащ, коня с ладной, крепкой сбруей.

Обережник молчал, давая старому и малому разглядеть себя.

Повисла тишина.

И вдруг Строк нерешительно вытянул вперед подрагивающую морщинистую руку и с какой-то обреченной надеждой прошептал:

— Тамир?

Сын в ответ кивнул, понимая, что в высоком поджаром мужчине, с коротко остриженными темными волосами, бледной кожей и навек исчезнувшими веснушками, трудно узнать толстого неуклюжего дитягю, ушедшего следом за креффом.

— Тамирушка... вернулся...

И не обращая более внимания на то, что незнакомец, постучавшийся нынче в ворота, мало общего имел с тем, кто некогда за эти ворота вышел, отец притянул к себе родное дитя.

— Сыночек... — Сухие руки стискивали плечи Тамира, тогда как седая макушка родителя едва доставала ему до подбородка.

Неловко обнимая старика, колдун думал о том, что вот этот почти ослепший дед когда-то давным-давно учил его мудреному ремеслу хлебопека. Как же так получилось, что наука, впитанная едва не с материнским молоком, навсегда выветрилась из головы, стала чужой всего-то за пять лет, проведенных в Цитадели? Такой же чужой, как этот человек, что зовет его сыном и столь крепко сжимает в объятиях.

— Будет, будет, — сухо сказал мужчина и высвободился. — В избу идем.

Старик часто-часто закивал и заговорил, давась словами:

— Радость-то какая... вернулся... а мать-то ведь по осени схоронили. Не дождалась тебя. Умирала, все говорила: «Сыночку бы повидать, хоть обнять напоследок, словом перемолвиться». А я вот, видишь, дожил, пень придорожный! Теперь и помирать можно. Сынок, дай нагляжусь на тебя!

Тамир настойчиво повел отца в дом, переводя беседу с жалостливого лепета на разговор более насущный.

— По осени? — уточнил он.

Строк закивал:

— Настудилась, занемогла да в три дня сторела от лихорадки. Уж и целителя я звал, да только он руками развел, мол, от старости и тоски припарок не придумано.

Сын нахмурился и спросил:

— Обряд-то по уму провели? Не поднялась? — Он шагнул в темную, душно натопленную избу.

— Не поднялась, что ты! — замахал руками старец. — Из сторожевой тройки колдун отчитывал. Нам же в прошлом годе нового наузника урядили.

— Схожу на жальник, проверю, что он там отчитал, — отозвался Тамир, в душе не доверяющий никому, кроме себя, и повернулся к стоящему в стороне оробевшему пареньку:

— Коня расседлай да сумы переметные в избу неси, нечего столбом верстовым стоять.

И так были сказаны эти слова, что застывший в изумлении мальчишка мигом ожил, поклонился и убежал во двор, только пятки замелькали. Старый хлебопек метнул на сына удивленный взгляд: не думал он, что его Тамир, прежде такой неуверенный и мягкий, сможет когда-либо говорить так властно. И слышалось, что привычка приказывать давно и прочно прижилась в его низком негромком голосе.

Отец растерянно глядел на возмужавшего наследника, который казался ему таким

чужим, непонятным. Если бы не лицо, в чертах которого угадывался облик почившей жены, Строк небось и вовсе усомнился бы в своем родстве с этим суровым незнакомцем.

— Скажи, есть ли у тебя нужда какая? — тем временем спросил Тамир.

Хозяин дома виновато ссутулился, думая, будто сын хочет упрекнуть его, и залопотал:

— Ты уж прости, родной, нет у нас уюта прежнего. Млава как умерла, так и опустела изба без хозяйки. Не серчай...

И он обвел рукой горницу, словно прося прощения, что встречает единственное дитя в таком убогом убранстве.

Обережник проследил за движением сухой ладони.

Изба как изба. При матери, знамо дело, и тканки на скамьях чище были, и полы выскоблены так, что глаза слепило. Но в остальном все, как пять лет назад, — знакомые с детства сундуки, ткацкий стан в углу, прялка с куделью. Вроде ничто не изменилось, лишь побледнело, постарело и без хозяйки словно бы осиротело. Да и пахло в доме не стряпней и чистотой, а дымом и пылью. Колдун покачал головой. Заметив это, старик зачастил:

— А ты как доехал, сынок? Может, баньку натопить?

Скрипнула дверь, и в горницу зашел с переметными сумами на плече давешний мальчишка.

— Это кто? — словно не слыша отца, кивнул наузник в сторону паренька.

— Дак Яська, — испугался Строк. — Ты его помнить должен, матушки твоей сестрич. Родня его по зиме сгилла — в печи среди ночи камень обвалился, дым в избу пошел. Угорели все: от мала до велика. Парень уцелел оттого лишь, что накануне у нас загостился да заночевал. Я и приютил его: ни кола, ни двора у горемыки, хозяйство немудреное все на оплату обряда ушло, шутка ли — девять душ разом упокоить! Так что оба мы с ним, выходит, сироты.

— А ну, подойди, — приказал Тамир Яське.

Тот испуганно шагнул вперед и замер, глядя округлившимися от почтения и страха глазами.

— Вроде руки есть у тебя. Иль две слишком много? Одну можно вырвать?

Мальчишка сошел с лица и захлопал глазами, не понимая, за какой проступок ему прочат такую страшную участь.

Колдун пояснил:

— Что ж ты живешь, словно чужин? Ни чистоты, ни порядка. Захребетником вздумал стать?

От его холодного голоса, от пронзительного взгляда темных глаз несчастного Ясеня прошиб пот.

— Тамирушка, Тамирушка, — залопотал отец, пытаясь оправдывать парня, — дите ж он еще. Да и не девка — по хозяйству-то проворить...

— Спроворит, ежели не хочет, чтобы я ему руки повыдергивал, — отрезал сын.

Старик отшатнулся, не веря, будто его родное чадо может вот эдак напуститься на ни в чем не повинного сироту. Зато побелевший от страха паренек бросился торопливо накрывать на стол, меча из печки немудреную снедь: жидкие зеленые щи, кашу, сваренную, видать, позапрошлым днем, пареную репу.

Тамир ел и хмурился. Щи были пустые, хлеб глинистый, каша слипшаяся. Наконец колдун не выдержал, отложил ложку и мрачно спросил:

— Эдак вы каждый день столуетесь?

Отец по-прежнему виновато развел руками. Сын поднялся, подошел к скамье, на которой лежали переметные сумы и, пошарив в одной, извлек завернутый в холстину каравай, шмат сала, несколько головок чеснока и вяленое мясо. Достав из-за пояса нож, он принялся нарезать яства толстыми пластами, но замер, почувствовав пристальный испуганный взгляд.

Яська смотрел на нож глазами, полными ужаса. Видать, промелькнуло в умишке, что этот самый клинок резал и руку колдуна, и мертвую плоть какого-нибудь покойника и... Хранители ведают, что еще. Тамир усмехнулся и на кончике ножа протянул мальнишке темно-красный кусок говядины.

Будто зачарованный, Яська взял лакомство, но так и застыл, от ужаса и отвращения не имея сил поднести его к губам. Да еще проклятый колдун другой кусок себе в рот отправил и глядит прямо в глаза, жует.

Желудок подпрыгнул пареньку к горлу, и Яська вынесся в сени, зажав рот ладонью.

Строк лишь горько вздохнул. Даже когда умерла Млава, не чувствовал себя старик таким обделенным, таким... обокраденным. Кто сейчас сидел с ним за одним столом? Разве Тамир? Не было у его сына таких пустых глаз! Не было этого холода в голосе. Звонким был парень. И сердце у него пылало, и глаза светились. А этот неведомый чужин кто? Словно подменили его креффы в Цитадели! Перекроили на свой лад, не оставив ничего от трудов отца и матери. Забрали дитя ласковое, а вернули неведомо кого. Холодного. Словно мертвого.

Только и радовалось родительское сердце, что сын все же жив. Не сгинул. Жаль, душа у парня озлобилась. Но душа ведь как птаха: приласкай, обогрей — и затрепещет. Найдется красивая, стройная, с очами ясными — оживет его сын, как иные, жизнью битые, оживали.

— Сынок, как жить теперь будем? — осторожно спросил старик. — В летах ты уже таких, что пора бы и жену в дом вводить...

Услышав это, обережник усмехнулся:

— Отец, какая жена? Я — колдун. Вне рода мы. Вне обычаев. И семей у нас нет. В городе я не останусь. Повидаться приехал. Проведать. А завтра обратно в Цитадель отправлюсь, на мой век там покойников хватит.

У Строка жалко вытянулось лицо. Возникший было в дверях Яська круто развернулся и снова кинулся обратно, едва сдерживая рвоту.

— Прости, сынок, не разумею обычаев ваших. — Старик вытер глаза.

— Не по сердцу тебе, что я труповодом стал? — спросил Тамир, сам не понимая, откуда, из каких глубин души лезет эта желчь и изливается на породившего его человека.

— Не труповод ты, — вдруг твердо ответил отец, — ты сын мой. Им и останешься.

И старик порывисто обнял этого чужого рослого мужчину, которого не понимал, но которого тем не менее любил всем сердцем и в котором чуял родную кровь. Чуял даже сквозь отчуждение, пролегшее между ними, сквозь долгие годы разлуки.

— Пойдем на буевище, сынок, — хрипло произнес Строк. — Матери поклонись. Она все глаза выплакала, тебя дожидаясь. А уж когда из Цитадели возвращалась, по две седмицы как мертвая на лавке лежала.

— Она ездила ко мне? — удивился Тамир.

— Покуда силы были: в год по два раза. Да все впусте.

«Видать, Донатос не пускал, — догадался колдун, — знал, что на пользу не пойдет. Оно и верно».

...На жальнике, который прятался в рощице за городским тыном, Тамир с отцом

пробыли до вечера. Колдун подправил холмик, окропил его кровью, словно не доверяя тому, кто по осени затворил матери путь в мир живых. Зарыл в могилу оберег с мудреным наузом, чтобы никто не смог Млаву поднять и потревожить.

После этого они с отцом долго стояли и молчали. Сыну было нечего сказать, а старику, который худым, костлявым плечом прижимался к молодому, налитому силой, говорить не хотелось. Он было решил вспомнить, каким Тамир был в детстве, но поглядел на его застывшее лицо и проглотил рвущиеся с губ слова.

Когда они возвращались назад и уже почти подошли к воротам, Строк стиснул обережника за локоть и заговорил:

— Ты прости, ежели что не так, сыночек. Может, обидно тебе, что Яську я пригрел?

— Да пускай живет, — отмахнулся колдун. — Ему защита, тебе подмога.

— Пойми, Тамирушка, — вновь заговорил отец, пытаясь объяснить сыну ход своих мыслей. — Стар я. Пекарню вон хотел совсем закрыть, не осталось силы на труд. А чужих нанимать боязно. Ум надо живой, острый иметь, чтобы за делом следить, чтоб не захирело да не разворовали. А я, сам видишь...

Он виновато развел руками и продолжил:

— А Яська вроде свой — родня, да и один как перст. Авось и сбережет дело родовое. Да и мне не так муторно. Вот закончишь служение, вернешься — будет что перенять в оборот.

Колдун сперва даже не понял, о чем толкует собеседник. А когда понял и заглянул в выцветшие, слезящиеся глаза, то слова, готовые сорваться с губ, примерзли к языку. Сколько было в Строковом взоре надежды! Не смог сын разуверить отца в обратном. А потому молча кивнул и сжал костлявое плечо. Незачем старому хлебопеку знать, что служение Цитадели не закончить до самой смерти.

Вечером, дождавшись, покуда отец заснет, Тамир сдернул с сундука посапывающего Яську и потащил того на двор. Паренек от ужаса лишился голоса и разевал рот в беззвучном крике, цепляясь за дверь. Решил, видать, что хотят его вышвырнуть на улицу, на потеху Ходящим. Но обережник безжалостно выдернул трясущегося мальчишку из избы, да еще пинком приободрил:

— Не блажи, — шикнул колдун, — со мной не сожрут. Поговорить надо.

Малец отчаянно закивал и попятился обратно в дом.

— Да стой ты, дурень, — зло дернул его за ухо мужчина, не желая пускаться в долгие объяснения о том, что бояться нечего, поскольку защитные резы на подворье он обновил.

За шкуру Тамир выволок трясущегося паренька под старую липу, отвесил пару затрепчин, чтобы перестал вырываться, и сказал:

— Слушай и вникай, бестолочь. Я через день уеду. Завтра поутру сбегаешь за посадником, скажешь: на Строковом дворе ждет его колдун. Пусть придет — дело до него есть.

— Господин, — залепетал мальчишка, у которого горели разом и затылок, и ухо, — дак он же меня и слушать не станет...

Перед глазами стали роскошные хоромы городского головы, к которым и подступиться-то было боязно. Да еще в вихрастой голове Яськи не укладывалось, что почтенный Хлюд — самый богатый купец Елáшира — к кому-то явится по приказу, будто холоп.

— Как же я такое самому посаднику скажу?!

Но наузник не разделял его робости, лишь усмехнулся и ответил:

— Ртом.

В ответ Яська испуганно икнул и в душе взмолился Хранителям, чтобы сын Строка побыстрее отбыл восвояси — в Крепость или еще куда, подальше отсюда только. В умишке же шевелилась тревожная мысль: «Такой прирежет — и рука не дрогнет. А потом еще и поднимет». И мальчишке блазнилось, будто бы въяве он чувствовал страшную силу, которая волнами расходилась от этого молодого мужчины. Но Тамир даже не заметил, какой жути, сам того не желая, нагнал на паренька, и продолжил говорить:

— Завтра, едва от старосты вернешься, весь дом от крыльца до охлупня отмоешь. И не приведи тебе Хранители хоть вершок пропустить. Удавлю, как кутенка. Чтобы к вечеру вся изба блестела. Впредь будешь держать все в чистоте, а за отцом моим ходить, как за родным. Одряхлел он, но на закате лет жить будет как человек, а не как свинья в хлеву. В баню води каждую седмицу. Стирай. Хлебово готовь. Да, пока он в разуме, проси, чтобы ремесло передал. Как помрет — дом и пекарня тебе отойдут. Посаднику скажу завтра. Но заруби на носу: узнаю, что слово худое отцу сказал, обворовал или хоть на оборот кончину его приблизил — живьем в землю зарюю.

Обмирающий Яська кивал.

— Понял хоть, что я сказал-то? — беззлобно усмехнулся колдун.

Парнишка распахнул глаза, соображая. До него лишь сейчас стало доходить, что Тамир только что уступил ему, сироте, родовое ремесло вкупе со всем родительским добром.

— Как же так, господин? Коли мне все достанется, ты-то что наследовать будешь? — залепетал мальчишка.

— Я все, что надо, унаследовал — кровь, плоть их да Дар свой. Остальное мне не нужно. А необходимое — в переметных сумах уместится. Если еще вдруг сюда вернусь, думаю, отыщешь мне в доме лавку и куском хлеба не обнесешь. Ну... а обнесешь коли, так и я забуду, что тебе обещал, и сотоварищи мои не вспомнят, — усмехнулся он и, больше не говоря ни слова, отправился в избу спать.

Яська потрусил следом, наступая наузнику на пятки. Первый раз в жизни оказался он ночью вне стен дома, оттого и поджилки тряслись.

Не-э-эт, о свалившемся на голову богатстве лучше в тепле под одеялом думать. Правда, поперед того как мечтать, еще вспомнить надобно, как матушка дом прибирала — труд-то завтра немалый предстоит.

На следующее утро Тамир сварил похлебку из ячменя, мяса и чеснока. По избе плыл дивный дух. Даже Строк, обычно со стариковским равнодушием садившийся за стол, и тот оживился и поел в охотку. Но едва Яська облизал ложку, как обережник посмотрел на него со значением.

Парнишку из избы словно ветром сдуло. Только дверь хлопнула.

— Куда это он? — изумился Строк.

— За Хлюдом, потолковать мне с ним надо.

Старик в ответ приосанился и важно огладил бороду. Отцовское сердце наполнилось гордостью за сына. Сам посадник к нему явится! Жаль, Млава не дожила...

Украдкой смахнув слезу, Строк посмотрел на Тамира и вздохнул. Может, и к лучшему, что мать не видит его. Сколько раз блазнилось отцу, как возвращается сын, как входит в дом, как обнимает его. Родной, ласковый... А приехал мужик чужой. От Яськи нет-нет, да услышишь слово ласковое, а этот вон молчит, словно камень. А ежели чего и скажет, то

словно крапивой стеганет. Злая наука стесала с приветливого, улыбочивого паренька всю радость...

Когда посадник постучался в дом, старый хлебопек уже начал подремывать, убаюканный тишиной и собственными путаными мыслями. И вот тебе — Хлюд стоит в дверях: принаряженный, в новых портах, скрипящих сапогах и хрустящей от чистоты рубахе. Городской голова отыскал глазами сидящего в дальнем углу под воронцом колдуна, поклонился в пояс и степенно произнес:

— Мира в дому.

— Мира, — отозвался наузник и поднялся.

Хлюд стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу и поджимая пальцы, больно намятые тесными сапогами. В душе он проклинал жену, заставившую его надеть обнову, но испросить позволения сесть не решался.

— Малец сказал, дело у тебя до меня есть, — начал посадник, но под немигающим взглядом темных глаз стушевался.

Если бы не сказал ему Яська, что к Строку сын приехал, сроду бы не признал Тамира. С тем, прежним парнем, посадник знал, как говорить, этот новый был ему незнаком.

— Есть. Идем потолкуем. — С этими словами колдун кивнул мужчине на улицу.

Хлюд вышел на свежий воздух, глубоко и с наслаждением вздохнул, обернулся к бережнику, ожидая, что тот скажет.

— Вот что, Хлюд. Ты в городе этом всем суд и совесть. Просьба у меня к тебе. После смерти отцовой за Яськой присмотри. Ему все добро оставляю. Он же и дело отцово продолжит. Упреди, чтоб гвоздя со двора не пропало. Ну как обманут парня или обдурят ловкачи какие?.. И последи, чтоб стол поминальный небедный был, об упокоении сам условлюсь, — в руку Хлюду лег кошель с монетами. — Что останется — парню отдай, не чини ему обиды. Без того натерпелся. Отцу ни слова не говори. Пусть спокойно век доживает.

Посадник понятиливо кивнул и убрал кошель.

— По совести сделаю, Строкович, не держи за душой. Как скажешь, так и будет.

Тамир благодарно кивнул:

— Хвала.

— Мира в пути.

— Мира в дому.

На том и разошлись.

Посадник только подумал про себя, что Строк на старости-то лет, видать, совсем из ума выжил. Уж и сказанному ясно: не будет колдун с опарой возиться, когда от Ходящих роздыху нет. Чуть не целые веси пропадают, а Строк все одно — о караваях своих печалится!

Забравшись на лошадь, Хлюд отправился домой, гадая, как так вышло, что толстомясы́й добродушный и бесхитростный сын старого пекаря переродился в Цитадели в этакого мужа, которого со Строком даже в дальнем родстве не заподозришь. Эх, этого бы чернеца-молодца да засватать бы за молодшую дочку — была б за ним дура-девка как за каменной стеной: и сыта, и в довольстве, и под приглядом.

А еще среди этих дум нет-нет, а вспоминалась посаднику жена, и хотелось взгреть сварливую бабу за то, что заставила напялить новые сапоги.

Едва не до темноты Тамир просидел у сторожевиков.

В городе он застал двоих. Еля — выученика Дарена, да Стеха — выученика Лашты.

Парой лет раньше они покинули Цитадель и с той поры там не появлялись, передавая оброчные деньги с оказиями.

Целителя из тройки колдун не застал, Нияд — выуч Русты — уехал по окрестным весям договариваться с травниками, чтобы заготовили сушеницы. До вечера бывшие послушники Крепости проговорили, делясь новостями — кто как доучился, кого куда отправили, появились ли новые креффы, не погиб ли кто из нынешних, нет ли вестей из дальних городов, где особенно неспокойно.

— У нас этой зимой оборотней откуда-то поналезло — без счету. Чуть не через стены перепрыгивали, — говорил Ель в сердцах.

— И покойника ныне, пока отчитаешь, чуть не всю кровь с себя сольешь, — кивал Стех. — Иной день и по три раза заговор проговариваешь, и резами все исчертишь, а он, глядь, поднялся через пару суток, проклятый.

— Мать мою ты отчитывал? — спросил глухо Тамир.

— Я? Неужто не так что?

Обережник покачал головой:

— На совесть все сделал, я бы лучше не смог.

— Ты бы... — усмехнулся мужчина. — Да ты, умей Дар видеть, повыше Донатоса бы сидел в креффате.

— Хорошо, что не умею, — усмехнулся Тамир. — Ездить выучей искать — то еще терпение нужно. У меня таких запасов нет.

— Дай Хранители, чтоб находились они, а то вон говорят, по Клесховым сорокам ни одного не сыскали. А ведь он ранее не ошибался, — помрачнел ратоборец.

Все трое замолчали. А что скажешь? С каждым годом Ходящих все больше. И вина за это лежит на них — Осененных Даром. Точнее, на одном из них. Да только болтать об этом Тамир не станет. Хотя... кто ж поверит ему, что Встрешника видел, да еще и говорил с ним?

Перед тем как попрощаться, сын Строка попытался всучить колдуну кошель — плату за отца. Но тот лишь отмахнулся:

— Хранителей побойся! Очумел уж совсем. Неужто ты б с меня денег взял, попроси я мать или сестру упокоить? Иди себе; коли буду я тут и дальше в сторожевиках — все в посмертии для отца твоего сделаю. А не буду, так Ель попросит — другой сделает. Мира в пути.

На том и расстались.

Забрав от сторожевиков оброчные деньги, наузник отправился домой. В сенях его ждал завернувшийся от вечерней прохлады в меховое одеяло Яська.

— Господин, а ты в который день уезжаешь?

— Хочешь сказать загостился? — усмехнулся мужчина.

— Что ты, что ты! — испуганно замахал руками паренек и покраснел, собираясь с духом. — Я... это...

Он замялся, а потом выпалил на одном дыхании:

— Вызвать хотел, что за хлебы ты предивные пек. У батюшки твоего спрашивал, он говорит, не знает.

Обережник улыбнулся:

— Нет в том никакой тайны. Душу вложишь — все получится, — сказал и почувствовал, как в горле отчего-то пересохло и запершило.

Вдруг с опозданием Тамир понял, что ничего от того времени не осталось. Кроме

памяти. Да и та уже поблекла, выцвела. Будто не с ним все было. Не его мечты, не его надежды... Оттого, должно быть, и следующие слова произнес он мягко, без прежней отрывистой сухости:

— Ты главное, Яська, помни о том, что хлебы твои — это чья-то радость. Вот испортишь замес — радости кого-то лишишь. Ну сам подумай: не поднимется опара — сделаешь калач, а он выйдет сухарь сухарем. Купит его, скажем, парень, захочет девку побаловать, а она об этот калач зуб сломает.

Мальчишка прыснул, а Тамир вдруг, сам не зная зачем, потрепал его по вихрастой макушке.

— Ты дело свое делай так, чтобы тебя за него словом добрым вспоминали.

Яська осмелел, почувствовав отеческое касание ладони на затылке, и спросил:

— А пойдем завтра утром попробуем?

Колдун посмотрел на него с горькой улыбкой, которая как-то сразу омолодила и будто бы раскрасила его жесткое лицо:

— Дурень ты. Кто ж этот хлеб купит?

Паренек непонимающе хлопал глазами. Его еще детский умишко не охватывал всего того, что мигом разумеют взрослые.

Тамир пояснил:

— Забыл, как вчера полдня блевал, когда я тебе мяса своим ножом отрезал? Колдунов, Ясень, все сторонятся. Мертвечину мы за руку водим. И нет той воды, которой я отмоюсь.

И воспитанник Строка понял. Оттого ли понял, что назвал его наузник взрослым именем, оттого ли, что голос у говорившего был каким-то особенным, а может, просто объяснил он ему хорошо. Понял, что такого, как стоящий рядом мужчина, к покойникам зовут, а не к печи. Боятся люди колдунов. Боятся до одури. Как сам он, Яська, боится...

Тамир уехал на следующее утро. Обнял отца, оставил на столе тяжелый кошель с деньгами: «Чтоб горшки в печи пустыми не стояли», — и был таков. Строк тихонько плакал, глядя вслед сыну. Куда и зачем он едет, какая нужда его гонит в дорогу, старик не спрашивал. Сердцем понимал: все чужое тут сыну — и город, и дом, да и сам он. А потому отец молил Хранителей послать его единственному ребенку мира на том нелегком пути, который суждено тому было пройти в одиночестве и ночной мгле.

Когда из-за деревьев показались заостренные бревна тына, Ихтор подумал — мерещится. Однако незнакомая заимка никуда не делась даже после того, как он взгляделся пристальнее. Над крепкими воротами был прибит волчий череп, который, согласно поверьям, отпугивал волколаков. И все-таки здешние обитатели не полагались на одни только выбеленные ветром и непогодой кости. Обережные резы красовались на столбах и по низу частокола. Надежно поставлено.

Целитель направил лошадь к воротам и постучал. Он пробирался через чащу уже сутки и за это время не встретил ни одного поселения. Три оставленных позади веси не подарили страннику встречи с Осененными, потому ехал он безрадостный, да еще и уставший.

На громкий стук за воротами слышались шаги и звонкий крик:

— Что ж ты дубасишь-то так, окаянный, ведь со столбов снимешь!

А когда тяжелая створка поплыла в сторону, перед чужаком предстала молодая стройная девушка с белым, густо обсыпанным веснушками лицом и косой цвета палой листвы. У нее были широкие прямые брови, полные красивые губы и глаза удивительного темно-янтарного

цвета. Одета незнакомка оказалась в длинную рубаху, по подолу вышитую суровыми нитками, и шерстяную безрукавку.

— Ой... — удивилась обитательница заимки. — Никак обережник припожаловал в глушь нашу?

И она отступила, пропуская странника.

— Мира в дому, — сказал тот.

— Мира в пути, — эхом последовал ответ.

Ихтор въехал во двор и неторопливо спешил. Он знал: его изуродованное лицо пугает женщин, а потому давал хозяйке время привыкнуть, чтобы не дичилась, не боялась и не отводила в смущении глаз.

Который уж раз целитель подумал, а не послать ли все к Встрешнику и не спрятать ли растерзанную плоть под повязкой? Останавливало лишь то, что под повязкой кожа потела, а старые шрамы принимались нестерпимо зудеть. Ладно, пусть смотрит, чего уж там.

Он повернулся.

Девушка улыбнулась, откинула за спину длинную тяжелую косу и весело сказала:

— Долгонько, господин, ты странствуешь, вон конь-то тяжело как ступает. Замаял ты его. Ну, идемте, отдохнете оба.

Ихтор с удивлением посмотрел в ее открытое ясное лицо. Крефф впервые столкнулся с таким приемом. Будто бы его давно тут знали. И не только знали, но и ждали. Видят Хранители, это настораживало.

— Спасибо, хозяйюшка.

— Не за что, колдун, — кивнула незнакомка. — Меня зовут Огняна. Проходи, баня как раз натоплена.

И она поманила его за собой. Обережник удивленно смотрел на прямую спину, на бледно-рыжий затылок и ореол тонких золотых волосков, дрожащий над головой. Странная девка. Не испугалась. Вопросов не задает.

— Как уж на нашу заимку-то вынесло тебя? — тем временем удивлялась Огняна. — Сроду все мимо ездили, болот здешних сторонясь. Идем, идем...

Лекарь настороженно озирался. Двор за тыном раскинулся просторный, с клетями, крепкой избой, сушилами и овином. На веревках, натянутых вдоль забора, реяли в ряд несколько постиранных мужских рубах. Но чего-то как будто не хватало. Мужчина озирался, силясь понять, и вдруг дошел: будка собачья стояла пустой, и пес на появление чужака не отозвался, не принялся брехать.

— А где же у вас дворняга-то, хозяйюшка? — спросил удивленный крефф.

Девушка обернулась, одарила его печальной улыбкой, от которой сделалась еще милее, и ответила:

— Волк нашего Рыка разодрал на охоте. Нового пса вот как раз братья с отцом из города привезут. А может, и двоих — кобеля да суку. Пускай себе плодятся. А то без лая их сиротливо как-то. Бояться-то нам некого за забором таким, но что за двор без собаки? У меня вон кошки... — она махнула рукой куда-то в сторону, — и те затосковали.

Ихтор усмехнулся. Кошек на подворье и впрямь было великое множество, три спали, вытянувшись, на солнцепеке, две лениво вылизывались на пороге клетки. Несколько разноцветных мурлык катали в пыли берестяной завиток.

— Богато, — признал целитель.

Огняна хмыкнула:

— Меня недаром братья Кошачьей Мамкой зовут. Иные котят топят, а у меня рука не поднимается, вот и живут.

Крефф покачал головой, удивляясь:

— А с псом как же ладили?

— Да никак, — пожала плечами девушка. — Они к нему и не подходили. А когда рыкнет — порскнут все в разные стороны, ищи их свищи. Кошка, она в любую щель просочится, лишь бы голова пролезла. А ему — лобастому — куда за ними гоняться? Полагает, да и отойдет. Нам — смех, ему — развлечение. Так ты в баню-то пойдешь?

Обережник кивнул. После суток, проведенных в седле, хотелось отдыха.

— Ну, идем провожу. А как намоешься, накормлю. Только воды много не лей там. Я жду, может, братья с отцом нынче вернутся, им тоже освежиться захочется.

— А где ж мужик твой, где дети? — спросил идущий следом Ихтор.

Хозяйка была молодая, болтливая, но в летах далеко не самых девичьих. Уж за двадцать, наверное. Однако покрывала, как мужняя, не носила. От внезапного вопроса обитательница лесной заимки замерла, а потом сказала негромко:

— Сгиб муж. Волколак задрал. Детей нажить не успели.

Целитель виновато промолчал. Она была такая живая, беззаботная, что и не верилось, будто за спиной этой веселой, словно солнечный день, женщины стояла тень страшной потери.

...Когда он вышел из бани, хозяйка заимки сидела на лавке возле избы и трепала рыжую кошку, заставляя ту вырываться, сердиться и шипеть.

— Ну, идем, накормлю тебя, — кивнула девушка креффу.

Он вошел в дом, и показалось, будто не раз здесь бывал. Деревенские избы похожи меж собой, что верно, то верно, но все же не о том сходстве думалось. Огняна словно бы источала тепло. Рядом с ней все казалось каким-то родным, даже стены незнакомого ранее жилища.

— Садись. — Она кивнула на скамью у стола. — Похлебка у меня пшеничная да лепешки.

И принялась сноровисто накрывать на стол. Утвердила пузатый горшок, исходящий паром, миску, ложку, в деревянный ковш-уточку налила холодного кваса, принесенного с ледника, выложила на плоское блюдо лепешки...

— Что? — удивилась девушка. — Что ты так смотришь?

Крефф покачал головой и молча принялся есть. Она ни о чем не спрашивала. Ему не хотелось говорить. В избе было тихо, уютно... Ихтору вспомнилось детство, дом, где он вырос, мать, которую он уже почти забыл. У них тоже было тихо и уютно, а летом в раскрытую дверь проливалось солнце, ложилось длинной полоской на дощатом полу, и видимые в его лучах пылинки танцевали бесконечный танец...

— ...с тобой?

Обережник очнулся, поняв, что на несколько мгновений так глубоко ушел в себя, что перестал слышать Огняну.

— Что?

— Случилось чего с тобой? — повторила хозяйка. — Зверь дикий напал?

И она кивнула на его обезображенное лицо.

— Напал, — кивнул Ихтор. — Оборотень.

— Ой... — покачала рыжей головой девушка. — Страсть-то какая!

Крефф пожал плечами. Он по первости долго привыкал к тому, что навсегда стал

уродом, но с годами смирился. Забыл даже, каково это — смотреть на мир двумя глазами, каково это — когда девки не шарахаются, а бабы и старики не смотрят с жалостью.

— Небось девки тебя боятся? — угадала Огняна.

— Ты-то вон не испугалась, — усмехнулся лекарь.

Обитательница заимки рассмеялась:

— У нас тут редко люди бывают — в глуши такой, так что каждый за радость. А стать мужская, она не в красоте... — Янтарные глаза сверкнули.

— А в чем же? — спросил Ихтор, дивясь смелости вдовушки.

Но Огняна и тут его удивила, ответив:

— Стать мужская — здесь, — и легонько постучала пальцем по здоровому виску гостя, потом задумалась и добавила: — И здесь.

Теплая ладонь слегка коснулась широкой груди.

— С лица воды не пить. Так матушка говаривала. А мужик добрым должен быть и умным. С таким хоть до ста лет живи — горя знать не будешь. Ну, наелся ты?

— Да. — Он отодвинул миску и посмотрел в отвлоченное окно. На лес опускались сумерки.

Целитель перевел взгляд на девушку:

— Видать, сегодня родичи твои уже не возвратятся. Темнеет.

Рыжка грустно кивнула:

— Небось на торгу задержались, а может, свататься поехали. Отец хотел парням невест подобрать. Они уж взрослые у нас — по восемнадцать весен.

Ихтор улыбнулся:

— Близнецы?

Девушка в ответ махнула с усмешкой рукой:

— Тройняшки. Всю душу в молодчестве вымотали. Мать-то в родах померла. Вот отец нас один и тянул. Да я помогала. Хотя чего я там напомогать могла в семь-то лет... Эх.

И Огняна горько покачала головой. Целитель смотрел на ее живое, часто меняющееся от веселья к грусти, от грусти к радости лицо и любовался в душе. Следующий вопрос — неловкий, неуместный — сорвался с губ сам собой:

— А тебя что ж до сих пор не сговорили?

Сказал и осекся.

Но хозяйка не обиделась, посмотрела на него серьезно и ответила:

— А ты бы в дом сыну своему бабу вдовую да еще и бездетную взял бы? — и тут же просветлела, уводя разговор в другую сторону: — Ты мне лучше скажи, почто в глушь нашу заехал? Ищешь кого али заплутал?

Он улыбнулся:

— Ищу. Детей с Даром ищу.

— Колдунов, что ли? — удивилась девушка. — Ишь ты. Вот ведь доля у вас... —

И Огняна покачала головой: — Тяжко, поди, ярмо-то это носить?

Мужчина сперва не понял, о каком ярме она толкует, но через миг дошел.

— Дар-то?

— Ну да, — кивнула собеседница. — Поди, иной раз хочется просто дома посидеть у печи, кота вон погладить. Хоть какой да уют. Не в седле же с утра до ночи трястись.

Ихтор в очередной раз улыбнулся. С ней было легко и приятно беседовать, будто бы знакомы они были давно. А еще в Огняне необъяснимо соединялась девичья прелесть,

женский ум и детская прямота. Лекарь уже открыл рот, чтобы ответить, однако не успел произнести ни звука: в сенях яростно завывали коты.

— Ах вы, окаянные! — всплеснула руками Огняна и вылетела прочь из избы.

С усмешкой Ихтор слушал, как она распекает хвостатых крикунов:

— Совсем очумели? А ну — кштыть! Гостя не тревожьте!

Она еще некоторое время честила своих подопечных, но беззлобно, весело, больше для отвода души. А когда вернулась в избу, принялась стелить Ихтору на лавке в углу у печи, за занавеской, там, где видимо, спала сама.

— Ты ложись, ложись... Дураки эти до утра орать будут. Но я их, если совсем раскричатся, выйду, пугну, чтоб не мешали тебе. Отдыхай. Я постелила уже.

Крефф кивнул. Крики котов его не смущали.

Поэтому он улегся, с наслаждением вытягиваясь на широкой лавке. За занавеской слабо сияла лучина, и слышалось тихое жужжание веретена. Огняна села пряхсть. Ихтор закрыл глаза. Мягкий сенник пах сухой травой и домом. От этого обережнику было спокойно, уютно. Да еще где-то на печи громко и раскатисто урчала кошка, убаюкивая уставшего странника монотонным пением.

Сквозь плотную дрему он слышал, как Огняна снова шикнула на разбуянившихся котов, как те обиженно взвизгнули, когда она кинула в них тряпкой. А потом крефф разобрал шуршание одежды — хозяйка забралась на печь и улеглась, укрывшись одеялом.

В избе было тихо и темно, и от осознания, что где-то совсем рядом спит девушка с рыжими пушистыми волосами, становилось теплее на душе.

Гость уехал утром. Огняна накормила его кашей и блинами, завернула этих же лакомств в холстину:

— На вот, поешь. Встрешник с этими горшками — съешь, да и выкини. Что уж, горшков, что ли, мы не налепим... бери, бери...

Она так ласково, так настойчиво уговаривала, что крефф не нашел в себе сил отказаться. Так и сунула ему в руки горшок с кашей и деревянное блюдо с блинами. Ихтору сделалось смешно, однако в происходящем было столько тепла и заботы, что ему вновь поблазнилось, будто Огняна — родной человек. А от заботы родни как отнекаешься?

Целитель принял снедь, убрал в переметные сумы, а в душе шевельнулась... грусть. Захотелось однажды снова сюда вернуться. А еще, паче чаяния, и вовсе не уезжать. Поэтому он сухо поблагодарил хозяйку и направил коня со двора.

Девушка стояла в распахнутых воротах и смотрела колдуну вслед.

— Эх, горе ты горькое, — пробормотала она себе под нос, а потом закрыла тяжелую створку.

Мужчина ей понравился. И, пожалуй, приятно было, что он не отказался и взял с собой ее стряпню. Огняна вздохнула и отправилась вновь топить баню, поджидая отца и братьев. Сонная кошка, лежавшая на пороге дома, широко зевнула, проводила хозяйку взглядом желтых глаз и снова уронила голову на лапы.

Ихтор остановился на привал в середине дня. Конь беспокоился и прядал ушами, видать, чувствовал зверя где-то в чаще. Крефф решил дать роздых волнуемому жеребцу. Спешился, погладил по беспокойно дергающейся шее. Прислушался. Тихо, только ветер гуляет в кронах.

— Ну что ты, что ты, — ласково уговаривал обережник.

Мало-помалу спокойствие хозяина передалось и животному.

Лишь после этого целитель снял поклажу и отпустил коня пастись, но тот все равно время от времени тревожно вскидывал голову. Поэтому, устраиваясь поесть, мужчина все-таки положил под руку оружие. Ну как и правда вынырнет из чащи хищник?

Странник неторопливо жевал остывшую кашу, когда возле переметной сумы, лежащей в траве, что-то завозилось. Ихтор прислушался, удивленно отставил в сторону Огнянин горшок и подошел к поклаже. Отрывистое негодующее «мяв». Еще раз, и еще. Крефф наклонился и увидел рядом с мешком запугавшегося лапой в завязках рыжего кота.

— Ты откуда? — спросил мужчина, поднимая находку за холку и поворачивая перед глазами то так, то эдак.

Кот безропотно висел, не пытаясь вывернуться. Был он рыжий-рыжий, но не полосатый, а покрытый темно-ржавыми разводами. Подпушек оказался желтым, как и глаза, с надеждой заглядывающие Ихтору в душу.

Целитель хмыкнул, перевернул мурлыку, подул между задних лапок. Кошка. Новообретенная попугачица возмутилась таким обращением, вырвалась и стукнула креффа лапой, после чего нахально и неторопливо подошла к горшку с кашей, опустила туда морду и принялась чавкать. Ихтор рассмеялся. Одна из Огняниных подопечных. Видать, забралась в суму спать, да так и попалась.

— Как же назвать тебя? — задумчиво спросил человек у животного. — Огняной?

И сам усмехнулся неловкой шутке.

Знатную памятку оставила о себе девушка, куда там горшкам...

— Будешь Рыжкой. — Тяжелая ладонь погладила тонкую спинку с выступающими позвонками.

Кошка вынула недоумевающую морду из горшка, посмотрела на человека янтарными глазами и снова погрузилась в недра посуды. Через некоторое время она надменно покинула место трапезы, уселась в стороне и принялась умываться. Ихтор, посмеиваясь над ней и над собой, доел остатки каши и, подхватив неожиданную спутницу на руки, вытянулся с ней на траве.

Некоторое время все трое блаженствовали. Конь пасся, пощипывая молодую траву, кошка мурлыкала под руками, человек дремал. А потом отправились в путь. Рыжка нырнула в суму, в которой и поехала, высунув любопытную морду и поглядывая на проплывающие мимо деревья.

Последующие седмицы странствий крефф не раз ловил себя на мысли, что совсем выжил из ума на старости лет — таскает с собой кошку. На него и в деревнях глядели с недоумением — колдун с котенком... Однако Рыжка была полна достоинства, с котами не зналась, держалась ближе к человеку, иногда царапала его, если совсем надоедал, обижалась, если не надоедал, и уходила спать, забравшись в его сапоги. Словом, капризничала, как всякая кошка, шипела на собак, играла с детьми, а в день отъезда важно восседала на переметных сумах, ожидая, когда человек устроит ее с удобствами.

К окончанию странствий крефф и Рыжка так привыкли друг к другу, что, несмотря на удивленные взгляды людей, спали и даже ели только вместе. Стоило мужчине улечься, рыжая спутница тут же взбиралась ему на грудь и принималась громко и старательно урчать. За столом она сидела на коленях у хозяина и норовила засунуть в тарелку морду вместе с усами. Получала щелчок по лбу, обижалась, гордо разворачивалась, провозила хвостом по содержимому миски и уходила.

Однажды, когда Ихтор не выдержал и щелкнул по рыжей морде особенно сильно, Рыжка выказала ему всю глубину своего презрения, напакостив на сапоги. После чего злорадно слушала из-за печи его ругань.

После этой их ссоры обережник выудил кошку и, засунув в переметную суму, плотно завязал горловину. Рыжка обиженно выла всю дорогу, ругаясь на колдуна на только ей одной ведомом языке. Потом устала и уснула под мерное покачивание.

А проснулась оттого, что из мрака седельной сумы человек извлек ее на залитый солнцем двор. Кошка стремительно вскарабкалась по рукаву креффа на плечо и испуганно зашипела: над ней возвышалась невиданной высоты каменная громада.

— Вот и приехали, — сказал Ихтор, осторожно снимая спутницу с плеча.

Рыжка мявкнула, огляделась и потерлась об изуродованную щеку колдуна, призывая помириться.

— Ох, лукавая, — усмехнулся он и погладил пушистую морду. — Ну, идем, покажу, где жить теперь будешь.

В топоте лошадиных копыт Лесане изо дня в день слышалось одно и то же: «Домой. Домой. Домой!» А большак, что тянулся от Цитадели, расходился, словно река ручейками, на тракты, вился среди полей и лесов. Все ближе и ближе родная весь. Вот и места знакомые... Сердце затрепетало. Еще несколько оборотов — и покажутся памятные до последней доски ворота и родной тын, окруженный старыми липами!

Что ее там ждет? Как встретят? Живы ли все? Здоровы ли? Хотелось пришпорить лошадь, отправить в галоп, да нельзя на лесной тропе.

Но вот чаща расступилась, явив частокол из заостренных бревен с потемневшими защитными резами. Лесана натянула повод и замерла в седле. Ничего здесь не изменилось. Те же липы, та же пыльная дорога, и на створке ворот неровная черта — то бык дядьки Гляда рогом прочертил еще лет восемь назад. Мужики тогда на него всей деревней вышли — еле свалили проклятого, так лютовал. Оказалось, шершень укусил.

Девушка стискивала в руках узду и не решалась направить лошадь вперед. Воспоминания детства навалились, замелькали перед глазами. Словно и не было пяти лет...

Когда обережница въехала в деревню, на улице было тихо. Лишь игравшие в пыли ребятишки с удивлением открыли рты, глядя на незнакомого вершника в черном облачении. Из-за спины чужина виднелась рукоять меча, а взгляд холодных глаз был пронзителен и остер. Малышня порскнула в стороны, и Лесана спрятала улыбку — будет теперь у них разговоров!

Вот и знакомый куст калины... Девушка спешила и, ведя кобылу в поводу, вошла на двор. На звук открывающихся ворот стоящая возле хлева женщина в простой посконной рубахе обернулась, и послушница Цитадели узнала мать. Постаревшую, поседевшую, но по-прежнему родную. Лесана уже собралась броситься к ней, но старшая Остриковна сама пошла навстречу, поспешно оправляя на голове платок.

Девушка хотела раскинуть руки, однако мать замерла в нескольких шагах от нее, поклонилась и сказала:

— Мира в пути, обережник.

Земля под ногами дочери закачалась.

Не признала.

— Мама... мамочка, — хрипло выдавила обережница, — ты что? Это же я — Лесана...

Остриковну будто хватил столбняк, она застыла и близоруко прищурилась:

— Дочка? — Женщина неверяще взгляделась в лицо незнакомого странника.

От дочери ее родной остались на том лице только глаза. И глаза эти сейчас смотрели с такой тревогой, что стало ясно — вот эта высокая, худая, черная, как ворон, девка и есть ее оплаканное дитя.

— Лесана!!!

На крик матери — надрывный, хриплый — из избы выскочила красивая статная девушка.

— Стеша, Стеша, радость-то какая! Сестрица твоя вернулась! — Женщина повернула к молодой заплаканное лицо, продолжая висеть на облаченном в черную одежду парне.

Стояна глядела с недоумением, но уже через миг всплеснула руками и взвизгнула:

— Батюшки! — и тут же кинулась к обнимающимся.

Лесана обнимала их обеих — плачущих, смеющихся — и чувствовала, как оттаивает душа. От матери пахло хлебом и молоком — позабытый, но такой родной запах. Стешку теперь было и не узнать: в волосах вышитая лента, на наливном белом теле женская рубаха, опояска плетеная с привесками, толстая коса свисает едва не до колен.

Вот так.

Уезжала от дитя неразумного, а вернулась и увидела в сестре себя. Да не нынешнюю, а ту, прежнюю, которая пять лет назад покинула отчий дом, уходя следом за креффом. Ту, которой Лесане не стать более никогда.

— Ты, дочка, прости, что хлебово-то у нас без приварка. Разве ж знали мы, что радость такая нынче случится... ты ешь, ешь, — суетилась мать, отчаянно стыдящаяся, что встречает дорогое дитя пустыми щами с крапивой, — сметанкой вот забели.

И она подвигала ближе плошку с густой сметаной.

— Мама, вкусно, — кивала Лесана, неторопливо жуя и с жадным любопытством оглядываясь вокруг.

За пять лет в избе ничего не изменилось. Та же вышитая занавеска, что отгораживает родительский кут. Те же полки вдоль стен с безыскусной утварью. Старенький ухват у печи стоит на прежнем месте. Ведро деревянное с водой в углу. Все как в день ее отъезда, только старше.

Хлопнула дверь. В избу вошел отец: заполошный, взволнованный. Из-за его спины выглядывал, блестя любопытными глазами, вихрастый белобрысый мальчишка.

— Мира, дочка... — Отец нерешительно шагнул к столу, не признавая в жилистом парне родное дитя, и порывисто, но при этом неловко обнял за плечи.

— Садись, садись, Юрдон, — зачастила мать, спешно меча на стол щербатые глиняные миски. — И ты, Руська, садись, нечего впусе на сестру пялиться.

Обедали в молчании. Как заведено. И всем при этом было одинаково неловко. Лесану раздирали десятки вопросов, Стояна отчаянно робела, глядя на девку-парня, мать с отцом пытались сделать вид, будто не испытывают замешательства, и только Руська жадными глазами глядел на висящий на стене меч. Ух, как хотелось поглядеть на него, вытащенный из ножен, подержать в руках! Да разве ж позволят...

Наконец отец оставил ложку, поймал обеспокоенный взгляд жены, кашлянул, что-то попытался сказать, да так и замолчал, не найдя за душой нужных слов. Тогда Млада Остриковна, отринув заветы предков, воспрещавших жене раскрывать рот поперед мужа, не

выдержала:

— Дочка, как уж доехала-то ты? Нешто одна?

Лесана в ответ беззаботно кивнула:

— А с кем же? Одна. Хорошо в лесу! Спокойно. А звезды какие ночами...

Она осеклась, увидев, как испуганно переглянулись родители.

— Мама, да ты не пугайся. Я ж ратоборец. Мне с потемками в доме не нужно прятаться. Вот только... — девушка помрачнела лицом, — гостинцев не привезла. Побоялась не угадать. Давно вас не видела. Подумала, уж лучше вы сами...

На стол лег тяжелый кожаный кошель.

Отец, с удивлением глядя на дочь, ослабил кожаный шнурок, и по столу рассыпались тускло блестящие монеты. Столько денег зараз в Остриковом роду никогда в руках не держали.

— Откуда ж... — удивленно сглотнул Юрдон.

— То плата моя как выученицы — за обозы. — Лесана улыбнулась.

Все, что они с Клесхом зарабатывали, наставник делил пополам. Вот только тратить звонкую монету было не на что: две трети заработка шли на оброчные Цитадели, остальные ждали своего часа. На что их было пустить? Ни лент, ни бус, ни рубах вышитых не нужно. Все добро немудреное в двух седельных суммах умещается.

— А ты обозы уже водишь? — не утерпел тем временем Руська.

— Года два как, — ответила девушка.

— И Ходящих убивала? — подался вперед братишка.

— Доводилось, — ровно ответила сестра.

Мать и Стояна вздрогнули, отец только крякнул. Повисла гнетущая тишина. Лесана поторопилась ее развеять — пошарила в лежащем на лавке заплечнике и извлекла оттуда свиток с восковой печатью.

— Надо бы за дядькой Ерсеем послать, грамоту на деревню отдать, — сказала она, обращаясь к отцу.

— Дочка, дак Ерсей еще в прошлом годе по осени помер, — растерялся тот. — Яблоню старую рубил, а топор с топорища-то возьми да и соскочи. Прямехонько в переносицу. Нерун ныне староста.

Млада нарочито громко захлопотала у стола, боясь, что имя отца Мируты расстроит дочь. Однако девушка лишь пожала плечами:

— Ну, значит, ему передам. Да и сороку проверить надобно, а то мало ли...

Не услышав в ее голосе ни боли, ни досады, мать успокоилась, а Стояна, все это время сидевшая молча, осмелела и влезла в разговор:

— Поди, узнает староста, кем Лесана стала, локти себе сгрызет: такую сноху проворонил... — Она хотела добавить что-то еще, но под грозным взглядом отца осеклась и покраснела.

— Да ну их, — отмахнулась обережница и повернулась к матери: — Я бы в баню сходила.

— Иди, иди, отец затопил, — вновь засуетилась Млада и полезла в сундук за чистыми холстинами и одеждой.

Отец тем временем тоже встал и с привычной властностью в голосе заговорил:

— Намоешься как — переодевайся. В порты, гляди, не рядись, чай не парень. А голову-то покрывалом укрой. Оно, конечно, не мужняя ты, да только без косы и вовсе срам. За

полдень к Неруну пойдём. Только недолго плескайся, негоже старосту от дел отвлекать.

Под этими словами Лесана будто окаменела. Медленно поднялась из-за стола и прожгла родителя взглядом, в котором не было ни девичьей робости, ни дочерней покорности. Тяжелым был этот взгляд. Мужским. Юрдон под ним как-то сжался, осел обратно на скамью и побледнел. А дочь сухо проговорила:

— Это тебе он староста. Мне — никто. Надо мной только Глава Цитадели власть имеет. Вот к нему я на поклон хожу, когда надобно. А к Неруну твоему шага не сделаю. Чтоб, когда из бани вернусь, он тут вот сидел и ждал. Да передай: ежели узнаю, что сорока сгубила, а новой он не озаботился — за бороду на сосне подвешу.

С этими словами Лесана развернулась и направилась прочь из избы, однако у двери замерла и, не поворачивая головы, промолвила:

— И одежду я ношу ту, какая мне по уложению Цитадели означена. А ежели стыдишься, что дочь в портах да без косы — так к вечеру меня здесь не будет.

С этими словами она вышла, мягко прикрыв за собой дверь.

— Пойди отнеси сестре, — прошептала мать, кивая Стояне на позабытые Лесаной холстины.

Девка испуганно посмотрела на отца, на затаившегося в углу и пытавшегося слиться со стеной Руську и кинулась вон.

Млада же, когда дочь скрылась из виду, растерянно опустилась на лавку рядом с мужем:

— Ты уж поласковее с ней, Юрдон... Не девка она более. Ратоборец. Гляди уж, кабы не осерчала на нас.

Староста корчевал с сыновьями лес, освобождая землю под пашню, а заодно готовя бревна для нового дома. Младший из его парней должен был жениться по осени и ввести в род молодую жену — следовало справить новую избу. Топоры звенели, щепка разлеталась во все стороны, пахло смолой и деревом, когда на делянку примчался меньшей внучок, вспотевший, запыхавшийся.

Сверкая щербиной между передними зубами, мальчишка выпалил:

— Деда, к нам колдун из Цитадели приехал!

— Поблазнилось, поди, — воткнув топор в поваленную сосну, сказал средний из Неруновых сыновей. — Какой тебе колдун! Крефф по весне наведывался, бережным кругом тоже вот недавно деревню обнесли, вещунью в Цитадель не посылали, откуда тут кому взяться? Одежда-то хоть какая на нем?

— Черная. К Остриковичам на двор зашел.

Нерун озадаченно пригладил всклокоченную бороду. С чего это к Остриковичам ратоборцу пожаловать? Непонятно.

— Батя, — подал голос взопревший Мирута, — у них же Лесану в учение забирали...

— Вернулась никак девка, — озадачился старый кузнец. — Да разве ж может баба ратоборцем стать? Ладно там целителем, но чтоб воем?.. Не углядел, поди, малец-то.

— Слышь, Стрел, — повернулся дед к мальчишке. — Чужин-то — девка или парень?

— Парень, деда! Острижен коротко да в портах. И с мечом!

— Видать, весть привез, что сгубила девка, — покачал головой Нерун. — Жалко Остриковых, вторую дочь теряют.

С этими словами староста вытер потный лоб рукавом, махнул старшему сыну, мол, собирайтесь, а сам поспешил обратно к деревне.

Эх, не вовремя Встрешник принес вестника. Только вон хлысты заготовили, работа в разгаре, а теперь бросай все и беги. Но дело старосты — насельнику Цитадели почет и уважение оказать, обогреть, накормить, дать роздых да лошадь переменить, ежели потребуется. Все это промелькнуло в голове у деревенского головы, покуда он отряжал внучка бежать до дому с наказом топить баню и накрывать стол. Гостя знатного приветить по всей правде надобно.

Лесане, после просторных мыльней Цитадели, в деревенской бане показалось тесно и темно. Париться ей не хотелось, поэтому она распахнула дверь, плеснула в ушат воды и стала шарить по склизким лавкам, ища мыльный корень. Молодшая тем временем все возилась в предбаннике, раздеваясь да расплетая косу. Вот скрипнули мокрые половицы под легкими шагами, и сзади раздалось громкое: «Ой!»

Стояна вошла в баню и теперь с неприкрытым ужасом смотрела на спину сестры.

— Чего ты? — обернулась та.

Девушка подошла и кончиками подрагивающих пальцев нерешительно коснулась уродливого шрама на спине старшей. Будто выгрызли из живой плоти кусок мяса...

— Да не бойся, — мягко сказала Лесана, — зажило уж. Давно не болит. Это мне упырь на память оставил, чтобы навек запомнила: нежити спину казать нельзя.

— Как же вытерпела ты... — В синих глазах, обрамленных длинными ресницами, заблестели слезы.

— От такого не умирают, — пожала плечами девушка и начала намыливать стриженую голову.

— Давай помогу, — сунулась Стояна.

— Не надо, — отстранилась сестра, — я уж сама. Привыкла.

Младшая покорно отступила, прижав руки к высокой полной груди. У Лесаны сжалось сердце. Какая она была красивая! Стройная, юная, со сметанно-белым телом, округлыми бедрами и мягким животом. А волосы — тяжелой волной до самых колен... Старшая Юрдоновна опустила голову в ушат с водой, стараясь заглушить внезапно проснувшуюся в сердце тоску.

А Стояна неуверенно натирала мыльным корнем лыковое мочало и старалась не глядеть на сестру — смущалась. Была та поджарая, словно переярок, и жилы так крепко перевивали все тело, что можно было глазами отыскать каждую. Коснуться же и вовсе страшно — на ощупь казалась Лесана жесткой, словно деревяшка. А от того, как двигались при малейшем движении на ее теле мышцы, похожие на ремни, и вовсе становилось не по себе.

Вроде была она девкой: с грудью и бедрами, да только... ничего от девки, кроме первородства, не имела будто. От такой, пожалуй, стрела как от камня отскочит, и нож соскользнет, не поранив. Подумала так Стешка и тут же усовестилась, краем глаза глядя на рубцы старых ран.

А еще размышляла меньшая о том, что вот сейчас намоются они, и сестрица вновь облачится в порты и рубаху мужскую. Как за ворота с ней показаться? Срам-то какой... И снова стыд затопил душу.

Нерун, шикнув на ватагу детворы, что отиралась возле забора Остриковичей, зашел на двор. В глаза сразу бросилось, как из бани выходят парень и девка. Да не просто парень — вой Цитадели, и не просто девка, а Стояна.

У старого кузнеца потемнело в глазах. Не бывало такого прежде, чтобы колдуны портили девок, да еще среди бела дня на глазах почитай едва ли ни целой веси! Староста уже набрал было в грудь воздуху, чтобы призвать охальника к совести, но подавился собственным гневом, когда чужин метнул на него пронзительный, полный предостережения взгляд.

— Здрав будь, дядька Нерун, — поклонилась молодшая Остриковна.

Колдун, стоящий рядом, поясницу гнуть, само собой, не стал. А деревенский голова отчего-то растерялся и застыл, разглядывая незнакомца. Высокий, прямой. Цену себе знает. Не богатырь. Кость тонкая, плечи узкие, но сразу видно: ударит — зубов не соберешь. Лицо скуластое. Молодое. Взгляд синих глаз тяжелый. И тут что-то промелькнуло в памяти... Вроде у старшей дочери Остриковичей такие же глаза были. Неужто и правда она?

— Лесана? — Нерун все еще не верил, что этот парень — дочь Юрдона.

— Она самая, — спокойно ответила девушка. — Не признал, что ли?

Староста пропустил мимо ушей, что парень, оказавшийся девкой, не назвал его дядькой. Сердце сжала тревога. Что Хранителей обманывать, сто раз он их возблагодарил, когда крефф девку увез. Не пара она Мируте была. Семья — голь перекатная, приданого никакого, всего добра — коса русая. Он и думать про нее забыл. А она вернулась.

Ну как прознает вдруг, что до последнего он медлил сватов засылать? Ну как мстить надумает? Не гляди, что в порты обрядилась да меч носит, умишко-то бабский остался, чего уж там... А у Мируты жена на сносях да дочь подрастает, радуется деда. Спаси Хранители от гнева невесты обиженной, да еще колдуньи. Весь род под корень изведет, и управы не сыщешь. Ежели только напомнить ей, что не чужие они люди — соотчичи все ж. Да и бабки его и Юрдона вроде по родству кровные были.

Лесана, видя, как староста хмурится, внезапно поняла, что за думы его тяготят. От этих мыслей ей сделалось смешно. Неужто и впрямь думает, она по его Мируте до сего дня убивается? Ну не дурак ли?

— Идем в дом, грамоту отдам. — Отчего-то девушке захотелось, чтоб Нерун побыстрее ушел. Не нравилось, что мужик в летах смотрит на нее, словно на уродливую: испуганно и с опаской. Боится, что кинется. Боится, что опозорит. Противно-то как...

Видать, их заметили. Иначе с чего бы это родители встречали на пороге горницы? Юрдон и Млада по привычке поклонились, неодобрительно косясь на старшую дочь. Одежу она не сменила, а про вежество и вовсе позабыла будто. Хорошо хоть меч обратно за спину не приладила, только нож у пояса оставила. Млада, поставив на стол крынку с квасом, утянула с собой Стояну, чтобы не слушала, да и не видела, как деревенского голову сестрица родная почетом обносит.

Отец завел разговор о Неруновом житье-бытье: как валят лес, как дела в кузне, не болеет ли кто из внуков, здорова ли сноха непраздная?

А Лесане пуще неволи не хотелось сидеть в душной избе да разводить треп по чину.

— Ты, отец, не забыл, зачем староста пришел? — устав от порожней болтовни, спросила дочь.

Юрдон нервно дернул кадыком. Он-то не забыл, но не по порядку это. Вперед о делах насущных поговорить надо, о ближних справиться, а уж потом только к делу переходить. Но, видать, в Цитадели все иначе. Тяжко такое знание давалось. И срамно было мужику, что дочь — немужняя даже — может отцу приказать, а он и слова поперек не скажи. Да только с осторожницей не поспоришь.

Лесана тем временем протянула старосте грамоту. Нерун неторопливо развернул ее и

уоставился в ровные письма. Читать он не умел, но знак Цитадели — сорока, тисненная на деревянной привеске — был знаком каждому. Пошевелив для пущей важности губами, староста бережно свернул грамотку и убрал за пазуху.

— Все понял, что написано, или прочесть? — Лесана знала — в деревне грамотеев не было.

— Ты письма понимаешь? — ахнули мужики.

— Выучили, — сухо ответила девушка.

Отец было сунулся спросить, зачем девке этикие знания, но стушевался, вспомнил, что по приезде всякий насельник Цитадели внимательно изучал все свитки, хранящиеся в веси. А иной раз делал в них и пометки какие. Вот когда Лесану забрал крефф, он в грамоте старой тоже что-то нацарапал. Пес его знает, что именно. Спрашивать побоялись. Раз пишет, знамо дело, надо зачем-то, а уж зачем — не мужицкого ума дело.

— Там говорится, что отныне с веси обережники будут взимать лишь половину цены, — сказала девушка мужчинам.

Кузнец покраснел, стушевался и стал прощаться. Он уже повернулся к дверям, когда в спину донеслось:

— А ты, староста, ничего не забыл?

Голова оглянулся и встретился глазами с ледяным взглядом. Не девки, что он знал семнадцать весен, а ратоборца, кой был ему незнаком. Ни гнева в том взоре не было, ни обиды. Только сила, да такая, что волей-неволей сломаешься. Вот и он сломался. До земли поклонился, от всей веси благодаря Лесану, что потом и кровью своей выслужила поблажку в уплате.

— Ступай, Нерун. Да помни: сейчас ты меня — Лесану Острикову — благодарил, что не сдохла в крепости, науку постигая; завтра я к тебе приду как посланник Цитадели, и ты по обычаю на всю весь гульбище устроишь, как Хранители завещали, когда род да земля Осененного поселению дали.

Юрдон только сглотнул, а стоявшая в сенях Млада уронила на пол крынку с молоком.

Незнамо какой оборот Лесана ворочалась с боку на бок и все не могла задремать. Сколько раз она, устраиваясь на ночь в лесу или в своем холодном покойчике, мечтала, как будет отдыхать в родном доме, на мягком сеннике, в тепле и неге, а теперь... мается, словно бесприютная. И сон нейдет.

Блазнилось, только долетит голова до подушки — забудется сном. Но время шло, а сна не было. Почему она могла заснуть под дождем, трясясь в седле, и в лютый мороз в шалаше из лапника, а в отчем доме замучилась вертеться? Закопченный потолок, что ли, на голову давит? Или мешают запахи щей, коим напитались потрескавшиеся от времени бревна стен? А может, дело в сверчке, который трещит за печкой? Или это мать, тихонько вздыхая, гонит от нее дрему?

Лесане было жарко, душно, тошно. Рядом, прижавшись горячим телом, спала Стояна. Прежде они всегда ложились вместе, но за пять лет старшая сестра привыкла спать одна, и нынешнее соседство мешало. Да что греха таить — ей мешало все! На соседних лавках сопели Руська и Елька (одиннадцатилетняя сестрица вернулась из леса, где с подружками собирала поздние сморчки, только к обеду, когда Лесана уже почти обжила в родительской избе). А еще через заволоченные окна доносились шелест ветра и шум леса. И девушке нестерпимо захотелось услышать их не сквозь толщу стен, а лежа на земле, как, бывало,

слушали они их с Клесхом.

Промучившись еще с оборот, бережница сняла с плеча тяжелую мягкую руку сестры, неслышно выбралась из-под одеяла и, прихватив меч, который привыкла везде носить с собой, шагнула в сени. Там сняла с гвоздя отцовский тулуп, достала из переметной сумы войлок и вышла из дома. В лицо ударил запах леса, росы, трав и земли. На мгновение стало жалко оставшихся за крепкими дверьми людей, что спали, не зная, какой опьяняющей бывает ночь. Девушка даже подумала пойти разбудить хоть Стояну, позвать с собой, но что-то в сердце кольнуло — не поймет. Лишь перепугается до смерти.

Подойдя к старой яблоне, Лесана очертила ее бережным кругом, расстелила войлок, положила под руку нож, рядом устроила меч и улеглась. Не успела даже подумать ни о чем, как заснула.

Однако нынешней ночью маялась без сна не только старшая Юрдоновна. Девятилетний Руська ворочался на своей лавке, отчаянно грезя о мече сестры. Мальчишка почти не помнил Лесану, слишком мал был, когда крефф ее забрал. В памяти гнездились какие-то воспоминания, но ни лица, ни голоса сестры в них не сохранилось. Помнил, как спать укладывала и укутывала одеялом, чтоб не сбрасывал. Помнил, как умывала и чесала частым гребнем, несмотря на вопли и слезы. Помнил, как гладила по пухлым коленкам, когда под утро забирался к ней на лавку — досыпать.

Мать попервости часто сестру вспоминала. Все убивалась по ней. А уж какие слезы горячие лила, когда вернулась из Цитадели, повидав... До сих пор блазились рыдания те. А сынишка тогда понять не мог — что же плачут по живой, как по умершей? Не понял и по сей день. Напротив, сегодня, увидев Лесану, Руська испытал восторг и... зависть. Ему бы вот так войти в избу — в черной одежде, опоясанным ремнем, с мечом за спиной! Чтобы каждая собака видела — вой вернулся. Защитник. Гроза Ходящих.

Но пуще всего Руське хотелось хоть одним глазком поглядеть на меч сестры. Ребяшня окрестная завидовала пареньку — чай с настоящим ратоборцем (пусть и девкой) под одной крышей живет! А заодно пугали, будто оружие у воев зачаровано и больно жалит чужих, может и руку отрубить, ежели без спросу сунуться. Но Руська не верил. И потому лежал на лавке, борясь со сном, который как назло мешал дожидаться. Да еще сестра никак не засыпала, словно медведь в берлоге ворочалась. Чего ей нейметя только? Он вон еле-еле глаза открытыми держит. Да еще Елька рядом так сладко сопит...

А что в итоге? Зря пыжился, за бока себя щипал, сон прогоняя. Лесана вон встала да из избы вышла. С мечом вместе! Вот куда ее Встрешник понес?

Мальчишка тихонько поднялся следом. И половицы тут же предательски закрипели. Руська тихо выругался. Как же она так прошла, что звука не раздалось? По воздуху, что ль, летела? А он, хоть в родной избе девять лет живет, загрохотал, будто на телеге проехал.

— Ты куда собрался? — сонно спросила из-за занавески мать.

— До ветра, — буркнул сын.

— Ведро в сенях, под лавкой, стоит, — пробормотала Млада, поворачиваясь на другой бок.

Руська, уже не таясь, шмыгнул в сени.

И все-таки, взявшись за ручку двери, он засомневался. Страшно... Вдруг дверь отворишь, а там волколак глазами горящими из кустов смотрит? Сестра хоть и говорила, что резы на воротах и тыне надежные, но все равно боязно. Мать не раз пугала рассказами о том, как Зорянку кровососы утащили, а ведь всего до соседнего двора бежала в потемках. И ночь-

то еще не настала тогда.

Однако любопытство пересилило страх. Руська утешил себя тем, что в деревне как-никак настоящий вой из Цитадели, а значит, бояться нечего. Поэтому мальчишка высунул нос из избы, огляделся и прислушался. Острые зубы не клацают, голодного рычания не слышать. Только соловьи заливаются да деревья шумят.

— Куда ж ты подевалась-то? — приплясывая от ночной прохлады, прошептал Руська и пошлепал босыми ногами по росе. — Упыри, что ль, утащили во Встрешниковы Хляби?

Сестру он нашел спящей возле дедовой яблони. Старое дерево давно не плодоносило, но в память об отце батя не хотел ее корчевать. Мол, Врон любил под ней сидеть. Тут и помер.

Лесана лежала на войлоке, накинув сверху отцовский тулуп, и сладко спала.

«Вот ведь вынесло ж ее, окаянную!» — рассердился братец. Дрыхнет — хоть бы что, а он трясись.

«Ежели бы не голова стриженная, сроду за воя не примешь, — думал Руська, разглядывая старшую Юрдоновну. — Девка как девка, только тощая».

Кинув вороватый взгляд на крепко спящую сродницу, мальчишка потянулся к заветному мечу. Ладные ножны, перехваченные крест-накрест толстыми ремнями, манили. Вот пальцы нерешительно коснулись широкой рукояти, оплетенной кожей, и... Вш-ш-ших! В горло вжалось что-то холодное. Острое. Русай замер, боясь шевельнуться.

Миг — и сестра сидит напротив, а на кончиках пальцев отведенной в сторону левой руки мерцает, переливаясь, синий огонек. Горит, но она не морщится. И в глазах ни отголоска сна. Будто притворялась. А другая рука вжимает закаленное лезвие боевого ножа в шею братца.

— Ты почто крадешься, как тать, а? — Ровный голос Лесаны продрал до костей.

— Ме-э-эч посмотреть хотел... — заскулил мальчишка, чувствуя себя глупым и жалким.

— А спросить не мог? — рассердилась сестра. — Или гордый такой?

— Не-э-эт. Боялся.

— Кого? Меня? — удивилась она.

— Что откажешь, боялся. — Руська готов был разреветься от страха и стыда.

— Что ж я, злыдня лютая, брату родному не дать на меч поглазеть? — удивилась девушка.

После этих ее слов Русай не выдержал и бесславно разревелся, ерзя коленками по холодной земле. Так совестно сделалось!

— Ну... будет... будет... — Обережница ласково обняла его острые плечи. — Вдругорядь не будешь руки тянуть, куда не просят. Скажи спасибо, что только усовестила. В следующий раз выпорю, чтоб по ночам не шлялся. Иди спать ложись, пока мать не хватилась.

Но он замотал головой и вцепился в жесткие сестрины бока:

— Можно с тобой останусь? — А в глазах столько надежды и страха — вдруг откажет?

— Оставайся, только тулуп весь на себя не стаскивай, а то прохладно, — улыбнулась Лесана.

Позже, прижимая к себе затихшего и сладко сопящего храбреца, сестра осторожно положила ладонь на узкую мальчишечью грудь. Пока еще слабый огонь горел там, теплился, невидимый глазу, но в будущем грозил разгореться в пламя.

— Хватит и одного Осененного в доме. — Горько вздохнув, Лесана затворила едва начавшую теплиться жилу.

На следующий день Остриковичи собирались в дом к старосте. Елька отчаянно стеснялась забытой и чужой сестры, а потому старалась на глаза ей не попадаться, все пряталась за мать или Стояну, да смущенно теребила кончик косы. Руська в новой рубахе и портах, но с отчаянно красными, выдранными за ночевку в саду ушами, вид все одно имел важный. Уши что — заживут! А вот как он окрестным мальчатам расскажет про то, что меч сестрин в руках держал да спал ночью в саду... от зависти все удавятся!

И только Млада, глядя, как старшая дочь натягивает через голову черную кожаную верхнюю, вздохнула и полезла в сундук:

— Дитяtko, на вот, надень, тебе вышивала. Думала, приедешь, порадуешься. — И мать неловко протянула обережнице расшитую по вороту и рукавам праздничную рубаху.

— Спасибо, — прошептала Лесана, разглядывая неожиданный подарок.

Рубаха была хороша, и той, прежней Лесане, пришлась бы впору и к лицу. Но то — прежней. А нынешней в груди окажется велика, на плечах натянется, вдоль тела обвиснет. И примерять не надо.

Поэтому девушка только вздохнула и, как могла мягко, сказала матери:

— Стояне больше пойдет. Она в ней пригожая будет, не то что я.

Млада недовольно поджала губы, но спорить не стала.

Дом Неруна, как и всякого кузнеца, стоял на окраине деревни. Богатый, добротный. Столы хозяева накрыли во дворе. Семья Юрдона пришла последней. Оттого отец всю дорогу костерил Стояну, что долго косу плела да бусы перебирала. Лесана знала — Стояниной вины в задержке не было, родитель попросту отводил душу из-за того, что старшая дочь шла рядом в неподобающем платье, да еще и черная, как ворона.

Ступив на хозяйский двор, обережница внезапно растерялась. Куда ей идти? Отец пошел за стол к мужикам, мать поспешила к хозяйкам, что стояли у крыльца, готовые приносить-уносить снедь, сестра убежала к подругам, которые яркой нарядной стайкой сбились в стороне. Чуть поодаль сгрудились парни, стояли, будто сами по себе, но то и дело бросали вороватые взгляды на румяных девок.

С появлением Осененной разговоры смолкли. Соотчичи с любопытством рассматривали старшую дочь Юрдона и Млады.

Чувствуя на себе осуждающие взгляды женщин, неодобрительные — мужчин, стыдливые взоры девок и любопытные — парней, Лесана снова ощутила себя чужой. Никому не понятной.

— Млада, чего это она у тебя к мужам-то села? — тихо охнула старая Тёса.

— Ей можно, ратоборец она, — услышала Лесана виноватый голос матери.

Только опустившись на лавку рядом с Неруном, девушка поняла, что нарушила все заветы дедов. Не по обычаю было, чтоб мужчины с женщинами садились рядом. Вот только обережница давно не относилась к женщинам. Да и привыкла есть за одним столом с мужиками и спать с ними же бок о бок.

Единственный раз порадовалась Лесана за родителей — когда староста поднял в ее здравие братину. Отец тогда горделиво приосанился, а мать украдкой вытерла слезу. Однако сама девушка от чарки отказалась:

— Спасибо, Нерун, за честь, но Осененные хмельного не пьют.

— Что так? — подивился староста.

— Пьяный ни себе, ни Дару не хозяин, — ответила Лесана.

— Нам надясь колдун обережный круг обновлял, так что пей смело. — Знакомый голос

раздался где-то рядом. — Дар твой nepoтpeбeн бyдeт. Хoдящиe нaшy вeсь зa вepстy минyют.

Дeвyшкa oтыскaлa взглaдoм тoгo, ктo нaрoчитo гpoмкo, c кичливoй пoддeвкoй скaзaл эти слoвa, и c тpyдoм yзнaлa Миpyтy. Гдe тoт стaтный пapeнь, c кoтopым oнa цeлoвaлacь пoд кaлинoвым кyстoм? Видaть, тaм и oстaлся. Нaпpoтив сидeл дeтинa c пoкpacнeвшим лицoм (дoлжнo быть, пoкa стoлы нaкрывaли, пpилoжилcя к бpaжкe), нeкpacивый, чyжoй. И чтo oнa тoгдa, дyрищa, нaшлa в нeм? Рoжa глyпaя, глaзa мyтнe, гyбы мoкpыe. Дa и сaм вeсь кaкoй-тo пpoтивный.

— Видeлa я кpyг, — кивнyлa Лeсaнa, yвoдя pазгoвop в дpyгyю cтopoнy, — нa coвeсть сдeлaн; Вeлeш, пoди, y вac был? — Oнa пoвepнyлacь к хoзяинy пoдвopья.

— A ктo ж eгo знaeт? Мы имя-тo нe cпpашивaли, — рaстepялся Нeрyн. — Мoлoдoй кaкoй-тo пoутpy пpиeхaл, eщe... этo... глaзa y нeгo кaк бeльмa; бyeвищe пpoвeдaл, рeзы пoднoвил, дeньги взял дa к вeчepy oтбыл. Дaжe нa нoчь нe oстaлся.

— Видaть, тopoпилcя. — Лeсaнa пoчyвcтвoвaлa, кaк гopлo cжaлocь oт тoски.

Смepтeльнo зaxoтeлoсь yвидeть хoть Вeлeшa, хoть кoгo дpyгoгo из былых coyчeникoв. Тoлькo бы нe эти рoжи. Кoгo yгoднo из Цитaдeли, ктo пpимeт в нeй рaвнyю, a нe дeвкy, ряжeннyю к coбcтвeннoмy бeсчecтью пapнeм.

Сeльчaнe нeтopoпливo eли, pазгoвopы тянyлиcь cвoим чeрeдoм. Вoт тoлькo Лeсaнe бeсeдoвaть здeсь былo нe c кeм и нe o чeм. Мyжики чyрaлиcь c нeй гoвopить, oпacалиcь в лyжy пeрeд дeвкoй ceсть. Мaть нeлoвкo кpacнeлa и тoжe, пo вceмy, бoялacь, чтo дoчь пoдoйдeт и вcтpянeт в бeсeдy cтapших. Пoдpyжки... тe вce мyжниe yжe, ктo нa cнoсях, ктo рeбятeнкa нa pyкax тeтeшкaeт. O чeм c ними гoвopить? Oни eй пpo бoлячки дeтcкиe, пpo тpyды дoмaшниe, a oнa им пpo чтo? И пoчeмy oнa, глyпaя, дyмaлa, бyдтo ничтo нe пoмeняeтcя, бyдтo вepнeтcя oнa в дeрeвню, и вce бyдeт пo-пpeжнeмy? Нeт. Нe бyдeт.

Зacтaвилa Нeрyнa пpazднecтвo coбpaть, дyмaлa oтцy-мaтepи чeсть тeм oкaзaть, пycть ceльчaнe глядят тeпeрь c yвaжeниeм, oкpyжaт пoчeтoм. A вышлo вce инaчe. Вpoдe и в чecти poдитeлям нe oткaзывaют, дa тoлькo нa этaкyю дoчь глядя, глaзa cтyдливo oтвoдят.

Oт oстрoй дoсaды зaxoтeлoсь вcтaть и yйти. Сeй жe миг! Нo кyдa и кaк yйдeшь c пиpa, в твoю жe чeсть пo твoeмy жe тpeбoвaнию coбpaннoгo... Сиди, дyрищa. Гляди и нa yc мoтaй: пpeждe, чeм дeлaть, дyмaть нaдo.

— A cкaжи, Лecaнкa, чeгo этo вы, кoлдyны, тaкиe дeньжищa c нac дeрeтe? — Пьяный гoлoc oсмeлeвшeгo Миpyтy вьpвaл дeвyшкy из тoскливых дyм.

— Я нe кoлдyн, я вoй, — cyxo oтвeтилa oнa. — Нo, coбepиcь ты oбoзoм, eщe бoльшe вoзьмy.

— Этo зa чтo жe? — Мyжчинa пoдaлcя впeрeд, yстрeмив нa нee взгляд пoмyтнeвших глaз.

— Зa жизнь, — пpocтo oтвeтилa oбepeжницa и тaк пocмoтpeлa нa нeудaвшeгoся жeнixa, чтo тoт ceл oбpaтнo нa лaвкy.

Нo oт этoй eгo выxoдкa нa дyшe y дeвyшки cтaлo пacмyрнo. Вcпoмнилa o тoм, кaк нaкaнyнe caмa, cвoими pyкaми oбeскpoвилa Цитaдeль. Зaтвopилa бpaтy жилy, пoжaлeлa. Дaжe нe cтoлькo eгo, cкoлькo oтцa c мaтepью. Пycть им в cтapocти пoдмoгa бyдeт. Дeвки-тo извecтнo — из дoмa кaк птицы вылeтят, a пapeнь — никoгдa. Бyдeт poдитeлям oпopa в дpяxлocти. Жeнy пpивeдeт, дeтeй нapoдят. Нe пpeрвeтcя poд Ocтpикoв.

— Дa тy хoть cилy нaм cвoю явить мoжeшь? — Миpyтa никaк нe жeлaл yнятьcя. — Зa кoю дeньги дeрeтe? A?

Ктo eгo зa язык дepнyл, cын кyзнeцa cкaзaть нe мoг. Пpocтo co вчepaшнeгo дня кaк

прознал, что неудавшаяся невеста вернулась в деревню, не находил себе места. Маятно сделалось. Вроде как и не виноват перед ней ни в чем, а отчего-то совестно.

Вечером, пока не стемнело, хотел идти на двор к Юрдону, повиниться, да жена не пустила. Завыла глупая баба, упала в ноги. Всех переполошила, дура. Так и не пошел. Сегодня же, едва увидел Лесанку, обмер. Хвала Хранителям, что не стоворил в свое время. Как с такой жить-то? Срамота одна.

С пьяных глаз забыл он, что не берут креффы сговоренных в Цитадель.

А теперь вот грызла сердце глухая злоба, что забылась Лесана свет Юрдоновна. Зазналась. Ранее-то на деревне ее род чуть не самый захудалый был, ныне ж так себя поставила, будто все ей в пояс кланяться должны. Поперед старосты почтение оказывать. Да и сама на бывшего жениха не посмотрела даже, словно и не миловались прежде. Нешто забыла все? Так ничего, он ей напомнит... Девка — она девка и есть, хоть с косой, хоть без. В портки или рубаху одетая — все одно: бабой родилась, бабой помрет.

— Ну, так... — постучал он чаркой по столу, — явишь силу? Аль нет?

— Я тебе не скоморох ярморочный, — отрубила Лесана.

— Ты иди, сынок, охолопись. Давай вон Ольху позову, пусть тебя проводит, — засуетилась мать, до смерти перепугавшаяся, как бы обережница не разозлилась и не наложила на пьяного дурня виру.

— Нет, пусть докажет, что она вой знатный, — пьяно набычился Мирута. — За что деньги-то ей платить?

Во хмелю он вовсе позабыл о том, что Лесана с него денег не требовала, что обозы он не собирает и защищать его она не просится.

— Не позорься, иди проспись! — с места поднялся Нерун. — Я грамоту видел.

«Пьяный проспится, дурак — никогда», — подумала про себя насельница Цитадели, но промолчала.

Зря.

— И что в грамоте той сказано? — продолжил яриться ее бывший жених. — Парень она иль девка? А то не разобрать. Забирали вроде девку с косой, а вернули парня стриженного.

Мирута закусил удила, и теперь его несло во все стороны разом.

Сельчане ахнули, испуганно переглядываясь. Лесана же молча встала, подошла к кузнецову сыну, поглядела в его налитые яростью глаза и громко с расстановкой сказала:

— Я тебе не парень и не девка. Я — ратоборец. Проверить ежели хочешь, попробуй, выйди против меня. Тогда, может, и поймешь, за что деньги нам платят.

Сказав так, девушка повернулась к замершему старосте:

— Мира в дому, Нерун. За хлеб-соль спасибо.

И пошла прочь со двора.

У ворот наперерез гостье бросилась брюхатая баба.

— Родненькая, не губи, прости его дурака, он не со зла. Брага это в нем говорит. — В подбежавшей молодойке дочь Юрдона с трудом признала подругу.

— Уймись, Ольха. Не трону я его. Но, как проспится, скажи: узнаю, что меня славит — язык вырву.

Сказала как ударила. И, больше ни на кого не глядя, вышла за ворота.

Далеко уйти не успела, услышала позади топот ног. Обернулась и лицом в живот ей тут же влетел Русай. Крепко обнял сестру и, запрокинув голову, блестя злыми слезами в глазах, выпалил:

— Вырасту — ноги переломаю гаду!

Девушка усмехнулась:

— Если нужда будет, я и сама переломаю. А ты что не остался?

— Да ну их, — шмыгнул паренек носом, — мать плачет, отец сердится, а Елька со Стешкой на посиделки улизнуть хотят. Чего я там не видал?

Лесана с тоской вспомнила про посиделки, на которые ее уже никогда не позовут. Кому нужна там девка, в парня ряженная, да еще и иного парня ловчее? При такой удаля молодецкую являть — только позориться, мигом за пояс заткнет. Да и ей что делать там? Хоровод вести в портах? Или прясть в уголке, надеясь, что заметит рукодельницу какой красавец, выманит в сени целоваться? Да и нужны они ей — целоваться с ними?

А сестрам — стыда не оберешься. И так, поди, все глаза выколют, вспоминая старшую. Еще и сватов засылать побоятся — в этакий-то дом, где девка-парень уродилась... Мать вон и так не знала, куда глаза прятать. Отец чуть под землю не провалился. А у них Стояна на выданье. Не приведи Хранители, старшая сестра младшей судьбу сломает...

Эх, не ко двору пришлась выученица Цитадели. Прав был Клесх, когда говорил, что нет у обережника ни семьи, ни родни. Ломоть он отрезанный. Везде чужой.

Лесана шла, а по щекам медленно катились слезы. В родной веси родные же люди ее стыдились. Ее — бескосую, тощую, одетую в черное мужское облачение, с грозным оружием у пояса. Стыдились и боялись, что невольно навредит. Хотелось в голос закричать от такой несправедливости, но молчать приходилось. Знамо дело, правы и отец и мать. По-своему правы. Она, Лесана, уедет, а им в этой деревне жить год, и другой, и третий, внуков растить. А какие внуки, если за спиной шептаться будут постоянно?

Шагающий рядом Руська словно чувствовал сестрину боль. Сжимал ее жесткую ладонь теплой ручонкой и сурово молчал. Ну девка, что с нее взять? Пусть поплачет.

— Ты не реви, — наконец назидательно заговорил он. — Чего реветь-то? Я тебя, хочешь, в лес сведу? Там в овраге берлога старая. Знаешь, здоровая какая? Ты там круг очертишь, мы и переночуем. Идем? Я пирогов вот набрал. — И он важно кивал на берестяной туесок, который собрала ему кузнецова жена.

— А не забоишься в лесу-то ночевать? — удивилась сестра, спешно вытирая лицо рукавом.

— С тобой? Нет.

Лесана хмыкнула и отправилась в дом за войлоком и овчинным тулупом.

...Идя с братом по лесу, девушка не могла понять: кого он ей напоминает? То ли щенка любопытного, то ли волчонка, что впервые вышел на охоту. Руська носился кругами, без опаски совал нос куда ни попадя и залиvisto хохотал, если доводилось споткнуться и упасть, зацепившись ногой за корягу или торчащую из земли кочку. А сестра неведомым чутьем понимала — нет в нем страха. И в который раз думала: права ли была, что жилу затворила, лишила естества, данного природой?

А Русай ни о чем не думал. Ему просто было радостно от того, что сестра рядом. И хотелось стать таким, как она: ничего не бояться, ходить, где хочет и когда хочет. Спать под открытым небом и смотреть на звезды. Стыдно сказать, но в первую ночь он долго лежал без сна и смотрел на мерцающие высоко в небе огоньки.

— Лесан, а возьми меня с собой в Цитадель? — просил Руська.

— Нет. В Крепость только тех берут, в ком Дар горит, а у тебя его нет, — соврала — и так на душе мутно стало!

Видела же, как горят глаза мальчишки, как тянется он к ратному делу.

— Может, ты его не видишь? — Паренек не терял надежды.

— Прости, — теплая рука потрепала светлые вихры, — нет в тебе Силы.

— Все равно ратоборцем стану, — упрямо шмыгнул носом братец.

— Подрасти сначала, — засмеялась девушка. — А пока пойдем посмотрим лог.

Проверить хочу, волколаки не ходят ли тропой тамошней.

День они гуляли по лесу. Целую ночь говорили. Впервые за все время, что Лесана отдыхала в веси, было ей хорошо и спокойно. Рядом находился тот, кто ее принял, по-детски безоглядно, всем сердцем. Не сторонился, не боялся.

— Лесан, а ты по дому сильно скучаешь? — уже когда начало светать, вдруг спросил молодой, позевывая.

— Сильно, — обняв брата, прошептала, зарываясь носом в вихрастую мальчишечью макушку, девушка.

Уезжала она на следующий день. Мать собрала в заплечник еды, сунула в кузовок вареную курицу, дикого лука, теплых масляных лепешек, прошлогодних соленых грибов. Прощались во дворе. Провожать себя до околицы Лесана не позволила.

Млада тихонько плакала, Юрдон неловко переступал с ноги на ногу, не зная, что сказать. Стояна виновато отводила глаза: теперь — за несколько мгновений до разлуки — ей было стыдно, что стеснялась сестры. Елька шмыгала и терла глаза, жалея всех: Лесану, которая все равно казалась незнакомой и чужой, мать, отца, Стояну и даже Руську, держащегося изо всех сил, чтобы не зареветь.

— Ну, не поминайте лихом; глядишь, приеду через год-другой. — Лесана легко забросила себя в седло и тронула лошадь с места.

За спиной заскрипели ворота. На душе было светло. Ни сожаления, ни грусти.

Она уехала, так и не обернувшись.

...Через два дня девушка достигла расстаней, на которых пять лет назад повстречала Тамира и Донатоса. В тени старого вяза, привалившись спиной к могучему дереву, дремал мужчина. Рядом пасся расседланный стреноженный конь. На костре бурлила в котелке ушица.

— Эй! — Девушка спешила и подошла.

Клесх лениво открыл глаза.

— Чего орешь? Уху помешай.

Лесана порывисто наклонилась и обняла наставника.

— Повидалась? — спросил он, похлопав ее по спине.

— Угу.

— Ну что? Больше к родному печищу не тянет? — понимающе улыбнулся крефф.

— Нет, — ответила выученица, а потом гневно спросила: — Знал ведь? Отчего не сказал?

— А ты поверила бы? — удивился собеседник.

Девушка в ответ лишь покачала головой.

— То-то и оно. Давай сюда уху, поедем да поехали. Я тебя вчера еще ждал.

— Куда поехали-то? — спросила Лесана, помешивая ароматное хлебово.

— Домой.

Домой...

Она улыбнулась. На сердце сделалось легко.

Когда ворота Цитадели распахнулись, стояло раннее утро. Солнце только-только поднималось над кромкой леса, но в низинах кое-где еще висел туман.

Двое всадников верхом на гнедых лошадях выехали из Крепости. Вершники были облачены один в коричневое, другой в серое одеяние и, судя по тяжелым переметным сумам, снарядились в долгую дорогу.

— Мира в пути, — пожелал в спины уезжающим выученик, стоящий у ворот.

— Мира в дому, — последовал брошенный в один голос ответ.

Юноша смотрел на креффов, удивляясь про себя тому, что эти двое, даже будучи одетыми в невзрачное мужское облачение, умудрялись оставаться женщинами... Красивыми женщинами.

Бьерга и Майрико ничего не подозревали о его мыслях и думали каждая о своем. Долго ехали в молчании. Солнце поднималось в зенит, и его лучи окунали тела в сладкую негу, размягчая души. Говорить не хотелось. Хотелось насладиться тишиной и покоем...

— Ты нынче снова не жаждешь в родные края ехать? — со вздохом спросила колдунья спутницу.

Лекарка в ответ усмехнулась:

— Верно.

— Значит, опять мне туда копытить, — досадливо скривилась женщина.

В памяти сразу всплыл тот далекий день — почти двадцать весен назад, — когда она везла юную целительницу в Крепость...

Наузнице тогда выпала нелегкая ехать в Почепки. Похлеще Встрешниковых Хлябей не любили креффы те края, оттого всякий раз тянули жребий, кому эта сладость достанется.

Три деревни, не большие и не малые, стояли среди лесов в полуобороте друг от друга. И вроде люди там были как прочие: хлеб сажали, ремесло всяк свое ведали, вот только всем приходилось они чужинами, и им всяк чужаком был.

Говорили почепские, что живут по правде древней, Хранителями завещанной. Хранителей своих звал тутошний люд Благиями. Эти-то Благии и заказали почепским с чужинами родниться, урядили жить наособицу. Даже на торг и то здешние мужики выезжали редко, а коли и выезжали, так без баб и детей. Не покупали ни посуды расписной, ни лакомств, ни бус девкам, ни лент. Все им казалось опоганенным.

Случись же кому стороннему через деревню их ехать да воды попросить испить, так после того ковш выкидывали. А девок почепские мужики, едва те рубашонки детские пачкать переставали, прятали под покровы, да такие, что за ними ни лица, ни стана не разглядеть. В рода чужие невест не отдавали, только в две свои соседние веси, что тем же обычаем жили. Оттого-то никто их девок и баб в глаза не видел. Болтали-де, почепские их и за людей не держат, так, чуть выше скотины.

Одним словом, чудное жите у них было. Неуютное. Вроде и улыбается тебе староста, и поклоны кладет, да по глазам колючим ясно — обороты считает, когда из веси уберешься.

Вот оттого и не любили креффы туда ездить. Тянули на щепках жребий, и в тот раз Хранители отвернулись от Бьерги, выпала ей тяжкая доля там выучей искать.

Она приехала в последнюю почепскую весь после полудня, злая, как упырь. Почти седмицу потратила впусте. По ее приезде всех несговоренных девок прятали, словно и в помине их не было. Приходилось колдунье идти на угрозы. Лишь после этого выводили из

клетей да погребов дочерей, укутанных в глухие покровы. А отцы и братья с такой лютой злобой смотрели на посланницу Цитадели, что руки тянулись убить каждого. И при этом от души не понимали — на что девок глупых смотреть? Что толку в них? Какой еще дар в бабах! Эдак и скотину крефф попросит показать, ну как в ней тоже колдовская искра теплится?

Эти «смотрины» вымотали Бьерге всю душу. Но вот, наконец, последняя почепская деревня — и можно возвращаться в Крепость.

Спешившись у дома старосты, странница привязала коня к тыну и вошла на двор.

— Мира в дому, Одиной, — припомнила имя старшего колдунья.

— Мира, — отозвался худощавый желчного вида мужик, что вышел на звук открываемых ворот. — Чай, опять детей наших в срам вводить приехала?

— Приехала я выучей искать, — обрубил крефф. — Потому собирай всех. Глядеть буду.

Староста дернул уголком рта и хотел было что-то возразить, но в этот миг хлопнула дверь хлева, и на белый свет вышла тоненькая невысокая девушка, упрятанная едва не до пят под тканое покрывало. Только глаза и видны, да и те опущены долу, а голова склонена так низко, словно ее обладательница живет с неискупаемой виной на душе. Еще бы не вина! Девкой уродилась.

Кто там скрывался под покрывалом, Бьерга не знала. Диво было, что дуреха на улицу при чужинке сунулась. Видать, убиралась в хлев и не слышала, как странница приехала. А еще диковиннее оказалось то, что от вышедшей повеяло Силой. Недюжинной, чистой, как солнечный луч.

— Кто это? — кивнула колдунья на замершую в нерешительности девку.

— Дочь моя средняя, — сощурился староста. — Аль понравилась?

Бьерга кивнула:

— Скажи жене, чтоб кузов ей собрала да еды в дорогу. Через оборот тронемся. Я ее забираю. Осененная она. А пока других созывай, погляжу.

Мужик опешил.

— Ты... — яростно выдохнул он, но вовремя осекся и продолжил: — Майрико не отдам. Выучей ищешь — так парней гляди. Девку не пуцу.

— Она сговоренная? Или мужняя? — Колдунья вперила в мужика взор пронзительных темных глаз, ожидая ответа.

Староста снова дернул уголком рта, собрался было обмануть, но сам себя осадил, понял, что креффа не проведешь.

— Нет, — только и ответил, а потом прибавил: — Но все одно — из дома óтчего за порог не пуцу. Нет на то моей воли.

— Ты не забылся, Одиной? — вкрадчиво спросила стоящая напротив него незаконная баба. — Воля тут одна — моя. Собирай заплечник ей. Не гневи Благиев своих. Не то ведь донесу в Цитадель весть, что отказали вы Крепости. К вам с той поры ни колдун, ни целитель, ни ратоборец не придет. Не будет тебе ни круга обережного, ни буевища спокойного.

— Ты меня не страшай! — возвысил голос староста, которому сделалось досадно, что его — мужика! — как щенка глупого баба треплет при родной дочери. — А ты — в избу пшла! — шикнул он на замершую, окаменевшую от ужаса девушку, и та метнулась тенью в дом.

Староста тем временем повернулся к наузнице:

— Среди парней ищи. А она — девка. Ее дело — рожать, щи варить да мужа почитать! А

ты хочешь над ней непотребство учинить? Покров сдернуть, косы отмахнуть да порты вздеть?

Он сплюнул под ноги.

— К мужикам ее увезти хочешь? Чтоб всякая собака лик ее видела? Не бывать такому! Дочь на позорище не отдам! У меня без нее их еще две, да трое сыновей. Какой дом их примет опосля срама этакого? И думать забудь. Парня любого отдам. Про Майрико не вспоминай даже. Удавлю лучше своими руками, чем позволю род опоганить.

Бьерга потемнела лицом и шагнула к мужику, зашипев:

— Да вы тут совсем ополоумели? Нам любой Осененный дороже самоцвета, а ты дитя родное извести собрался?

— У нас своя правда, — отрезал староста, — а тебя, коли в Почепках не любо, я не держу.

— Ах, правда у вас... — протянула колдунья. — Ну что ж, раз правда... Только гляди, как бы завтра, едва солнце встанет, не пришлось у меня в ногах валяться. Ежели что, у Горюч-ключа ищи. До полудня пожду. Не явишься — уеду.

— Не явлюсь. Не жди, — сказал Одиной и ушел в дом.

— На то мы посмотрим поутру. — Бьерга взяла под уздцы лошадь и направилась прочь из веси. Потому не увидела, как Одиной вынес из конюшни вожжи и отходил дочь так, что мать с сестрами на руках у него висли, лишь бы не засек до смерти.

А ночью... разом встал весь почепский жальник. И осторожный круг от вурдалаков не спас. Люди тряслись по домам, слыша рык и глухое топанье мертвых ног. Нечисть не смогла войти в избы и выманить Зовом людей. Спасли заговоренные ладанки. Но мертвяки перегрызли, передавили и распугали всю скотину. Испуганно ржали лошади, мычали коровы, визжали псы. Люди в избах плакали и молились, но Благии не слышали причитаний. И вурдалаки скреблись под окнами, стучались в двери, шептали, рычали, звали живых глухими, скрежещущими голосами, перебирая каждого поименно.

Лишь когда звезды стали бледнеть, нечисть, пьяная от крови, подалась прочь, перерывкаясь, огрызаясь друг на друга...

С восходом солнца, оглохшие от ужаса и навалившейся беды, люди вышли на разоренные дворы...

Плакали хозяйки, скорбно и зло молчали мужчины, испуганно жались к взрослым дети. На залитых кровью улицах валялись разодранные обглоданные туши. Женщины причитали, узнавая в бесформенных кучах падали вчерашних кормилиц — Пеструшек и Нарядок. Как теперь жить?

Ни одной коровы не осталось, ни одной лошади! Кур, и тех не сыскать! А ворота стоят распахнутыми и, ежели не затворить чертú, завтра снова подымутся вурдалаки, снова придут бродить под окнами, пугать людей, гроыхать на подворьях, в бессильной голодной злобе грызть пороги домов, бить мертвыми руками в двери...

Одиной растерянно озирался, не зная, как теперь совладать с бедой. Бабы тихонько выли. Мужики, парни, старики ходили бледные, как навьи, все надеялись сыскать кто лошадь, кто пса, кто хоть козу заблудшую. И каждый понимал: они хотя сегодня и живы, но все равно что мертвые. Чем семьи кормить? Все сгибло. А туши надо закопать, пока не начали смердеть. Есть опоганенное, тронутое Ходящими мясо никто не станет. И страшно билась в головах единая мысль: «Голод...»

Как от него спастись? Уйти к единоверцам — в соседние деревни? Бросить дома? Но

кто ж приютит столько лишних ртов? Ну, день, другой, ну, седмицу, вторую, а рано или поздно придется уходить. Да и кто захочет из своего дома хозяином уйти, а в чужой войти приживалой? А куда еще податься? Черта обережная нарушена. Креффу Одиной отказал и теперь сторожевика звать — дело зряшное. Не пойдут обережники спасать тех, кто презрел правду и волю Цитадели.

Пока еще люди не сгибли — спасали ладанки на шеях, да и то вон у Гремяча в семье двое младших чуть из кожи не выпрыгнули, к дверям рвались. Оберегов у детей не было, насилиу мать с отцом и старшими в дому удержали — в погребке заперли. Да и вечные они, что ли, обереги-то?.. К весне и их сила растратится. Что тогда?

К горестно замершему старосте подковылял дед Амдор. Виновато отводя глаза, он прошамкал:

— Отдай свою девку колдунье, Одиной. Глядишь, отгадет, не станет сёрдца держать, черту подновит.

— Побойся Благиев, Амдор, — сжал кулаки мужчина. — Срам такой!

— А упырем по лесам шататься не срам? — зло ударил клюкой об землю старик. — Я помереть в своей избе хочу, чтоб колдун науз мне на шею вздел, отшептал и душу с миром отпустил. И сыновья мои с внуками не должны в закуп идти от дурости твоей. Коли Благии Майрико Даром осенили, так на то ихняя воля. Ее исполнить надобно. Отдай дуру свою. У тебя еще вон две таких же.

— Да ты ведь первый мне глаза этим колоть будешь! — задохнулся Одиной. — Станешь соотчицей отговаривать девок моих замуж брать, сыновей в рода принимать!

— А ты Майрико из рода извергни. — Хитрый старик не желал уступать. — Будет она и тебе, и нам чужая. А чужую что ж не отпустить? Ступай за обережницей, в ноги падай, но чтоб к вечеру деревня кругом обнесена была, иначе тебя и твою семью первыми за тын вышвырнем. Глядишь, Ходящие вами нажрут и нас не тронут.

Одиной нашел Бьергу в полуверсте от деревни у Горюч-ключа, как и говорила. Крефф жарила на углях обмазанную глиной рыбу и курила трубку.

— Никак пришел? — усмехнулась колдунья.

— Возьми девку мою, — глухо сказал Одиной, — только черту обережную верни. Не по совести это.

— Дочерью откупиться решил? — удивилась наузница. — Отчего ж не по совести? Вы со мной, как с собакой, и я с вами так же. Или ты думал, воздаяния не будет?

— Не по совести, — упрямо повторил староста. — Нами черта обережная оплачена была. А ты ее незаконно разорвала, весь нашу оставила на вымирание.

Крефф хмыкнула:

— Так уж и на умирание? Обереги на вас надежные. Я видела. А ты еще вот что помни: могла бы не только скотину на убой отдать, но и вас всех.

Староста вздрогнул и бросил на собеседницу испуганный взгляд:

— Да за что ж...

— За то, что поперек воли Цитадели идете. За то, что с нас берете кровью, жизнью, а сами за то готовы лишь деньгами платить. Не все в нашем мире за серебро и золото покупается, Одиной. Не все. Иной раз и самое дорогое отдавать приходится, чтобы другие жили. А ты об этом позабыл. Я лишь напомнила.

Тут-то и всплыли в памяти почепского старосты давешние слова колдуньи.

— Не губи, — опустил на колени мужчина. — Забирай девку. Вовек препоны чинить

не стану. За труд твой заплатим щедро.

— А мне не надо щедро, — равнодушно сказала колдунья. — Мне надо столько, сколько положено.

Староста испуганно заерзал, а Бьерга продолжила:

— Гляди-ка, Одиной, нынче ты не думаешь, что мое *бабье* дело — детей рожать, щи варить да мужа почитать. Небось рад меня между собой и смертью поставить, а? Никак поменялась правда твоя?

— Правда моя никогда не изменится, — упрямо ответил староста.

— Так и креффы людей в закуп не берут. — Бьерга выбила трубку о камень. — Поди, соотчичи наострили тебя ко мне на поклон идти и девкой своей задобрить? От рода, наверное, дозволили ее отринуть?

Мужчина опустил глаза и кивнул.

Наузница разозлилась:

— Майрико я забираю. Круг замкну, но на тебя налагаю виру. Коли дочь твоя выучится — не получишь послабления. То наказанье мое. И будущей весной чтоб всех девок без разговоров креффам показали. Хоть одну утаите — обережники к вам больше ни ногой. Я все сказала. Чтоб через пол-оборота девка твоя была готова ехать. Да оставшихся детей мне вдоль улицы выстави, погляжу, может, еще кого найду.

...Увы, более Осененных в веси не сыскалось. Поэтому, подновив обережную черту, Бьерга со своей подопечной уехала еще до того, как солнце вошло в зенит. Ехали молча. Девчонка, лица которой колдунья так и не видела до сих пор, сидела на лошади, прямая, словно аршин проглотившая. И от того, как скупно она двигается, как стискивают тонкие руки узду, белея в костяшках, крефф поняла: почепинка из дому уехала с отцовым «подарком». Видать, выдрал дочь напоследок. Отвел душу.

Лишь остановившись на отдых, Бьерга заметила, что глаза у девушки помутнели от боли. Но все-таки она молчала. Не жаловалась. Не плакала. Не просила помощи. Ведь помрет, а не взмолится! Проклятое семя! Обережница не стала нежничать, развернула к себе впавшую в болезненное оцепенение спутницу, уложила животом на войлок, заголила спину и ахнула. Ну, Одиной, пес смердящий, оставил девке памятку о доме родном!

Колдунья обмывала раны, втирала в подрагивающую спину мазь и молила Хранителей об одном — чтоб девка не залихорадила. Увы. Под утро Майрико начала метаться. Отвары и притирки не помогли. Рубцы исходили сукровицей и не торопились заживать. Пришлось отправлять в ближайший город сороку да ждать целителя из сторожевой тройки. На счастье креффа, тот быстро обернулся.

Сколько молодой лекарь вливал в девчонку Силу, отбивая у Встрешника, вспомнить страшно. А когда несчастная, наконец, утихла на своем войлоке, мужчина вздохнул, глядя на почепинку:

— Теперь понятно, отчего их мужики жен под покровы прячут. За такую вся Цитадель передерется, красота-то нездешняя...

От его слов в груди Бьерги кольнуло, и обережница, разглядывая лицо Майрико, согласилась:

— Нездешняя. Наши девки круглолицые, в кости шире, волосом темнее. А у этой и кость тонкая, и кожа как светится, да и кос таких льняных не сыщешь. И драться, прав ты, будут за нее. Только зряшно. Никого она к себе не подпустит.

С этими словами наузница вновь закрыла тканью лицо спящей. На немой вопрос в

глазах лекаря, колдунья хмыкнула:

— Так и вези, с рожей замотанной. Нэд сам разберется, как тряпку эту с нее снять. Пока пусть так ходит. Кто ее, малахольную, знает: еще руки на себя наложит...

Целитель кивнул — про придурь жителей Почепков знали все.

Утром же Бьерга уехала искать других выучей и проверять буевища, а лекарь повез девку в Крепость.

Много седмиц спустя, уже по возвращении колдуньи в Цитадель, наставник Майрико, Койра, рассказал креффу, как по приезду Клесх сорвал с девки покрывало. Как она блажила, что навек опозорена, что замуж никто не возьмет, а значит, и жить ей с таким срамом незачем. На эти крики из подземелья вылезла Нурлиса, надавала зареванной дурехе оплеух и проскрипела:

— Чего орешь, как скаженная? Сопли подотри, глядишь, он на тебе и женится, как в возраст войдет. Вам, может, так Благии упредили?! У-у-у, дура глупая.

Лишь после этого девчонка затихла, задумалась над словами бабки.

А Клесх громко, на весь двор сказал:

— Я сопливую в жены не возьму, надо больно!

С той поры никто более не видел Майрико плачущей.

В Цитадели страдали молчаливо. Тосковали не напоказ. Учились, пуще владения Даром, владению собой. Девушке из Почепков, отринутой собственными родичами, послушание давалось нелегко. Вырванная из привычного уклада, остриженная, одетая в мужское, она так и оставалась для всех чужинкой.

Да, не носила более дочь Одинаея покрывала, но взгляда светлых глаз по-прежнему не отрывала от земли, говорила едва слышно. Как зверек дикий от всех пряталась и не хотела постигать науку.

Слушалась одного только Клесха. Им ее и выманивали. Подступит, брови сдвинет, скажет:

— А ну, сюда иди...

Она голову повесит и бредет. Ступает через силу, но покоряется. У мальчишки, который едва «невесте» до плеча доставал, властности в голосе — на двоих взрослых парней хватало. Только ведь звереныша этого тоже поди уговори делать, что велят...

Раз он на поводу у Нэда пошел, когда девку в мыльню к Нурлисе привел, где ей косы отмахнули. И второй, когда в порты ее надо было переодеть. А потом поглядел, как она опосля учиненного белеет и трясется, обозвал наставника ее старым пердуном, кулаком в бок пихнул и был таков. Чуть не сутки по всем закоулкам искали, чтобы выдрать...

Но все эти битвы Бьерга не видела. Прознала о них только когда спустя месяц вернулась в Цитадель и выслушивала жалобы Койры на выученицу, которая науке вразумляться не хочет и прячется от уроков по всем углам.

— Зря ты ее привезла, — говорил старый лекарь. — Не выйдет из нее целителя. Никого не выйдет. Не верит она в себя, не верит что Дар в ней, девке, есть. Думает, отец расплатился ею за защиту. Пустой себя считает. Без толку возиться с такой. В иных наука как вода в песок уходит, а с нее — скатывается. Я уж извелся. Да и боится всего. Чуть голос возвысишь — дрожит, аж заикается.

— Я поговорю с ней. — Колдунья почернела лицом. — Но за прок от разговора не поручусь. Кто знает, что в голове у дуры. Тут одно лишь ясно: либо у тебя будет толковая

выученица, либо у моих подлетков — свежий мертвяк.

Бьерга нашла Майрико в кладовой Башни целителей. Девка сидела на деревянном ларе и бездумно теребила в руках холщовый мешочек с сушеницей.

— Ты чего это в клети, как мышь под веником, хоронишься? — с порога рывкнула крефф. — Дар свой хоронишь?

— Нет у меня Дара, — вскинула светлые, почти белые глаза выученица. — Бесплезная я.

— Ах, беспле-э-эзная... — протянула обережница и усмехнулась. — Так идем, на поварню сведу, стряпухи быстро тебя делом займут. Бесплезным в Цитадели места нет.

Майрико равнодушно смотрела на свою мучительницу.

— Что? Не по правде твоей нам, поганинам, кашу варить? — Наузница сдвинула брови. — Так домой возвращайся.

Девушка едва слышно прошептала:

— Нельзя мне домой. От рода отринули. Вернусь — встретят как чужинку. В избу не пустят.

— Зря, видать, я жальник ваш подняла, — покачала головой Бьерга. — Только скотину впусте сгубила. Проку нет от тебя.

Послушница вздрогнула, словно от удара. В широко раскрытых глазах отразился ужас, когда несчастная поняла, *что* сказала колдунья.

— Жальник подняла? — помертвевшими губами прошептала Майрико.

— Круг обережный разорвала. — Наузница говорила спокойно, будто не видела за собой вины.

— Зачем? — едва слышно выдохнула почепинка, чувствуя, как заходится от ужаса сердце.

Сразу всплыли в памяти причитания матери и завалившаяся на бок Звездочка с выгрызенным брюхом и разорванным выменем. Вспомнился стук в дверь и скрипучий голос дядьки Гдана, помершего еще по зиме. Вспомнилось, как плакал меньшей братишка, зарываясь матери в коленки, и как звал дядька из-за двери со свистящим причмокиванием: «Тошно, Ильмеря, тошно мне. Впусти погреться...»

Мороз пробежал по коже, поднимая дыбом волоски. А колдунья, стоящая напротив, сказала равнодушно:

— Думала, Дар в тебе горит. Думала, людей спасти будешь. Отец твой поперек воли Цитадели пошел. Этакое никому не прощается. Осененные выше правды стоят. Выше Благиев, которые не помешали Ходящим пугать вас, дураков, и скотину вашу жрать. Думала, прок от тебя будет.

— Что ж за люди вы тут... — глухо сказала Майрико.

— Нет тут людей. Тут обережники. И чтобы ты завтра могла сотням жизни спасти, я в ту ночь, не глядя, покоем вашим пожертвовала. А в том, что это случилось, вина отца твоего, дурость его да упрямство. — Колдунья гвоздила словами, а девушка вздрагивала на своем ларе, словно под оплеухами.

— Ты же голод в веси учинила...

Бьерга поджала губы.

— Ничего, по сусекам поскребут, насобирают серебра на новых коров. А ты мне ленью и упрямством досаду лучше не чини, не то вернусь в Почепки, и уж тогда вурдалаки одной скотиной не успокоятся. А ежели, краса ненаглядная, вздумаешь руки на

себя наложить, так помни: мертвая тоже сгодиться. Отдам Койре. Будет на тебе подлеткам своим показывать, как человек изнутри устроен. А потом учить раны зашивать. Когда ж зашивать нечего станет, отнесут к колдунам. Покуда на куски не развалишься, будут поднимать и упокаивать. Почепки же твои я навсегда черты осторожной лишу. Вот тебе моя правда.

С этими словами крефф вышла из кладовой.

Чего тогда стоило Майрико пережить ночь, ведомо было только ей. Одно дело — уйти от правды, спрятаться среди мертвых, а совсем другое — принять и научиться с ней жить. Но с того дня девушка из Почепков вошла в разум, и ни разу более Койра не жаловался на нее Бьерге. К пятому же году обучения стало ясно: сильнее Майрико целителя нет.

На ночлег путницы остановились недалеко от дороги в березовой рощице, выросшей на месте старой гари. Бьерга распрягла и стреножила лошадей, ее спутница занялась костром и приготовлением нехитрой трапезы.

Глядя на то, как колдунья обносит место ночевки осторожным кругом, лекарка вспоминала их совместное странствие почти двадцать лет назад. Только тогда путь их лежал в Цитадель, а не от нее. Майрико смутно помнила ту дорогу: в груди тогда все дрожало от ужаса и непоправимости случившегося, а спина полыхала болью.

Но вот теперь почепинская девушка — крефф. Как время летит... И как все изменилось. Она изменилась. Где та дуреха, которая чувствовала себя голой, лишившись покрывала, прячущего лицо? Видать, осталась на дворе Цитадели, посреди которого грязный тощий мальчишка сорвал с нее покров. А, может, умерла той ночью, когда раненой птицей металась по кладовой в Башне целителей, изнемогая от тоски, вины, стыда и боли? Или когда отмахнули ей под самый затылок толстые косы?

Кто бы знал, как тяжело давалась ей не то что наука — жизнь сама... Каждый день просыпалась с одной лишь мыслью — скорей бы эта мука закончилась. Все ей в Крепости было чужое, поганое, неродное. Как ножами острыми перекраивала послушница себя под новую правду. Училась подчиняться чужим мужикам, ходить в штанах, от которых чесались и зудели ноги, есть пищу, что приготовили без молитвы. Привыкала нутро не выплевывать, когда плоть живую или мертвую рассекала.

Койра любил повторять, глядя на ее закушенные едва не до крови губы:

— Человек, девка, — это такая тварь, которая ко всему привыкает. И ты привыкнешь.

Прав крефф оказался. Привыкла. Мучительно. Долго. Но переломила себя. По новой выковала. Вот только в глубине души все одно — осталась той девкой из глухой лесной веси, для которой слово старшего в роду — закон...

Тяжелее всего приходилось, когда подходили к ней парни, пленяясь диковинной красотой. Если бы не Клесх, связываться с которым дураков не было, проходу б не давали. Но будущий ратоборец как-то умудрился из тощего мальчонки превратиться в рослого парня, которому было все равно с кем драться — хоть с выучеником старшим, хоть с самим креффом, хоть до крови, хоть до смерти.

Клесх...

Целительница подкинула веток в костер, посмотрела на Бьергу, которая, в молчании поев похлебки, давно и спокойно спала на своем войлоке. Убедившись, что колдунья дышит ровно и тихо, Майрико принялась бесшумно копошиться в седельной суме. Расстелила у своего ложа чистую тканку и разложила на ней крошечные берестяные туюски и глиняные

горшочки. Вот достала отрез холстины, открыла одну из посудин, намочила ткань и начала осторожно вытирать лицо, шею, грудь. Затем настала очередь коробчонок.

Пальцы привычно зачерпывали пахучие снадобья, втирали в белоснежное тело. Над полянкой поплыл сладкий запах трав. И вдруг лекарка отшвырнула от себя глиняный горшочек, подтянула к груди колени и бессильно уткнулась в них лицом. Зачем, зачем она все это делает? Разве тот, для кого она старается, заметит? Да и когда они теперь свидятся? И свидятся ли?

Седмицу назад Клесх уехал. Как в привычке у него было: ушел ранним утром, неслышной тенью. Только в этот раз целительница не спала, видела сквозь ресницы, как он неспешно и беззвучно одевается, затягивает на груди перевязь.

Как она любила его в этот миг! Каким родным и каким чужим он ей казался... Единственный ее мужчина. Тот, кого она считала мужем. И которому была нужна не больше, чем рукавица в жару...

Он подошел, коснулся губами ее лба и тихо вышел. А она осталась лежать в темноте покойчика, сдерживая рыдания, что рвались из груди. Даже за столько лет не отвыкла она плакать. О нем — не отвыкла.

Куда он так всегда торопится и от кого бежит? От себя? От нее?

Майрико достала зеркальце и при свете костра начала придирчиво рассматривать свое отражение. Да, уже не девица, но и не старуха ведь! Кожа по-прежнему нежная, и морщинки в уголках глаз еще почти незаметны. В светлых волосах нет седины, а тело, которое так жадно подчинял себе Клесх той ночью, еще нельзя назвать увядающим. Так чего ж ему, окаянному, не хватает? Да и какой он окаанный... любимый он. Муж перед Благиями, коим она до сих пор украдкой молилась.

Ему достались и ее первый поцелуй, и ее девичество. И сейчас помнила еще, как он (от роду шестнадцати весен всего!) зажал ее — старше себя на три года — на лестнице в Башне целителей, стиснул запястья железным хватом, чтоб вырваться не вздумала, и спросил, а по чести говоря, утвердил:

— Моей будешь.

И она кивнула. Потому что и впрямь была его. Только его. Только рядом с ним оживала, да что оживала — жила! А всякий раз, когда он покидал Цитадель, застывала, как дерево зимой, и ждала, ждала, покуда вернется. Чтобы хоть издали посмотреть, не смея подойти, коснуться.

Ах, как терзалась целительница, что засомневалась тогда, перед креффами! И еще больше ненавидела себя за те слова, которые в сердцах бросила в лицо ратоборцу, когда он уезжал, злой и надменный: «Да какой толк от любви твоей? От нее одна беда да глупость. А Цитадель ни того, ни другого не прощает!»

Сказала — и лишь когда слова упали в волглый воздух пасмурного утра, осознала, что произнесла, в чем обвинила. Единственного. Лучшего.

Но даже пуще этих слов жег Майрико стыд. Стыд за то, что, злясь на Клесха, она однажды впустила в свой покойчик другого — чужого, нелюбимого.

Чего греха таить, многие после изгнания молодого обережника из Цитадели стучались в ее комнатушку. Но ни разу лекарка не открыла дверь. А однажды по весне тоска вдруг сменилась злостью. Злостью, что его нет рядом, что он, вероятно, забыл ее, что живет и не знает, как она скулит по ночам, уткнувшись лицом в сенник.

Вот тогда решила: хватит! Хватит рвать себе душу. Как каленым железом нужно выжечь

эту глупую любовь. Выжечь объятьями другого. И когда однажды ночью к ней постучался Руста, она отворила... Да только под жадными ласками мужчины лежала как неживая. Стылая. словно окоченевшая. И кровь в жилах не закипала, как закипала всегда, стоило только Клесху прикоснуться. Молодой крефф почувствовал это. Выругался и зло выдохнул:

— Мертвого любить и то, поди, приятнее!

Скатившись с лавки, Руста надел порты, подхватил рубаху и вышел.

А Майрико только под утро вышла из оцепенения. И много лет корила себя за то, что позволила злости взять верх над сердцем.

Горькой была ее доля. Клесх, как гниль дурную, отрубил от себя бывшую любовь. Не замечал словно. Не тосковал. Не сожалел. Когда он спустя столько лет вдруг обнял ее, казалось, сердце от счастья зайдется и остановится! Но ушатом холодной воды обрушилось: «Я тебе больше не могу доверять».

Ответить было нечего. Вина ее велика. Но ведь сказал однажды, что любит! Своей назвал!

Одним махом целительница сгребла мази и притирки обратно в переметную суму. А может, швырнуть в огонь? На что, для кого ей прихорашиваться? Нет у нее другого. И не будет. А тот, который рядом... любить его — мука великая. Только ведь без муки этой и жизни нет. Целительница судорожно вздохнула и прикрыла глаза.

Жила еще у нее в душе глупая надежда на то, что однажды Клесх простит. Совсем простит. Не сможет не простить. Она не позволит. Пусть хоть всю жизнь виноватиться придется. Нет в ней гордости. Да и не бывает гордости у девушек из Почепков. А мужчина у каждой из них — один и до смерти. Всегда так было. И не потому, что Благии так завещали, а потому что если любишь кого-то всем сердцем, то для иных места в нем нет. Нет, и не будет.

Это случилось три года назад.

Стояла промозглая осень. Серые тучи словно зацепились за макушки сосен, да так и остались висеть, исходя нудным дождем. Клесх и Лесана были в пути уже несколько дней. За это время они безнадежно вымокли, устали и извелись от гадкой погоды. Послушница тряслась в седле и мечтала только об одном — оказаться не среди чащи, а под крышей жилища. Пускай ненадолго, пусть даже без бани, только бы в четырех стенах, где не сыплются на голову дождевые капли, а под ногами нет этой раскисшей, скользкой земли с бесцветной, поникшей травой.

Холодно. Да еще ветер поднялся. С конской гривы скатывалась вода, и крутые лошадиные бока подрагивали, будто от озноба. Ух, как ненавидела в этот миг выученица Цитадели свою злую долю! А пуще прочего наставника, который был словно из камня сработанный. Не зябнет он, что ли?

Лесана ехала и злилась. Хоть бы на привал остановился, у костра покоптиться, слегка обогреться да горячего поесть. Нет же: едет, будто Встрешник гонит окаянного!

Пока она молчаливо негодовала, Клесх уверенно правил вперед. Они ехали, и ехали, и ехали, и казалось, будто дороге через чащу не будет конца. Но вот глухой лес сменился прозрачным березняком, за белыми стволами которого показался высокий частокол из ладных бревен. Деревня!

Девушка нетерпеливо поерзала в седле. Неужто сбудется ее мечта, и нынешнюю ночь они проведут в тепле: напарятся в бане, обсушатся, постирают одежду, выспятся?

Ворота крохотной веси, которая насчитывала не более дюжины дворов, еще были открыты, и странники двинулись вдоль пустынной улицы. У избы, стоявшей всего через четыре дома от окраины, крефф спешил. Его спутница удивилась: дом был хоть и добротный, но не из самых богатых. Знать, не старостин. Так отчего же они тут остановились? За забором разразилась истошным лаем сидящая на цепи псица. Клесх тем временем наклонился, пошарил под воротами, сдвинул щеколду, и широкая створка поползла в сторону.

Собака, до того мига рвавшаяся с привязи, увидела чужака и вдруг заплясала на задних лапах, подметая пушистым хвостом сырую землю, заскулила звонко, жалобно, просяще.

На лай и повизгивание сторожа распахнулась дверь избы. На пороге появилась женщина в наспех накинутой на плечи свитке. Хозяйка оказалась не такая уж и юная, лет на семь постарше Лесаны. Но какая пригожая... Косы темные, глаза жгучие, сама стройная, словно березка.

Женщина всплеснула руками и со всех ног бросилась к приезжим, повисая на шее Клесха.

— Приехал! Приехал! — повторяла красавица, осыпая лицо креффа лихорадочными поцелуями. — Приехал! То-то мне уж которую ночь снится, будто сорока к нам в избу залетает... Что ж так долго-то ныне?

Она уткнулась лбом в плечо мужчины, продолжая крепко обнимать.

Лесана же стояла в двух шагах от них, держа в поводу лошадей, и силилась протолкнуть в грудь воздух, который внезапно застрял в горле. Девушку охватило глухое оцепенение. Она смотрела перед собой и не верила тому, что видит.

Следом за женщиной во двор вышла девочка, очень похожая на хозяйку дома, только со строгим, замкнутым выражением лица. А потом на крыльцо выкатился паренек, на бегу подтягивавший холщовые штаны. И лишь совершеннейший слепец не заметил бы сходства между отцом и сыном. Лесана слепой не была. Поэтому она смотрела на то, как женщина и мальчонок повисают на ее наставнике, а земля под ногами раскачивалась... Девочка, вышедшая из дома, тоже подошла к приезжему. Но обняла скупой, больше по заведенному порядку, чем от души. И стала в стороне.

— Идем, идем в дом, — ласково потянула Клесха за локоть женщина. — Совсем вымок. А я ведь пирогов утром напекла, как знала.

Он улыбался, потому что ему, видимо, нравилось подчиняться ее заботливому напору. Послушно следуя за хозяйкой, крефф повернулся к выученице:

— Идем, что встала? Эльхит, коней расседлай. — Он потрепал жмущегося к нему мальчишку по пепельной макушке.

Послушница Цитадели шла следом, чувствуя себя оглушенной, растерянной. Обманутой.

Изба внутри оказалась небольшой, но очень уютной. Вымокшее, заочневшее тело с порога обняло ласковое тепло. В горнице пахло пирогами и наваристыми щами. Здесь было чисто и красиво: пестрые половики на полу, вышитые умелыми руками тканки на лавках, расписная утварь на полках вдоль стен, стол, накрытый браной скатертью с большим блюдом румяных сдобных пирогов.

Крефф привычным движением отстегнул перевязь и повесил на стену меч, туда, где нарочно для этого был вбит гвоздь. Разувааясь, Лесана чувствовала себя чужой и ненужной. В душе всколыхнулась злая горечь на наставника, который все это время учил ее никого не любить, ни к кому не привязываться, а сам жил иначе. Ложь. Все ложь. От первого до

последнего слова. А она-то, дура, начала считать Цитадель своим домом и почти приняла ее жестокую правду!

— Проходи, проходи, милая! — вдруг спохватилась хлопчущая у стола женщина и повернулась к госте. — Вот ведь я на радостях-то последнее вежество растеряла... Снимай одежду, я тебе сейчас чистое все дам, сухое, а это брось вон в сени, нынче постираю. Бросай, бросай...

Она говорила весело, оживленно, и послушница против воли залюбовалась ее красивым спокойным и безмятежно счастливым лицом. Она давно, очень давно не видела таких открытых лиц — радостных, будто бы источающих свет. Внезапно Лесане стало стыдно за свои давешние злые мысли, за досаду. Эта красивая женщина была такой ласковой, такой приветливой, что можно было понять Клесха, который, как всякий бездомный мужик, искал теплоты и заботы.

— Как тебя звать-величать? — тем временем расспрашивала хозяйка, расставляя на столе пузатые миски.

— Лесаной, — ответила гостя, стесняясь своей сырой грязной одежды и прелых обор. Клесх незаметно вышел, и женщины остались в избе одни.

— Ну а меня Дариной, — сказала хозяйка. — Сына — Эльхитом, а дочку Клёной. Клёна, что ж ты сробела? Иди, баню проверь, уж протопилась, поди. Да холстины туда снеси. Иди, иди.

Девочка со стопкой утирочных тканей послушно скользнула прочь, накинув на плечи материну свитку.

Лесана, пользуясь тем, что на нее не смотрят, быстро смотала оборы, сунула их в сапоги и опустила на лавку, пряча грязные ноги.

— Много ли девушек в Цитадели у вас? — спрашивала тем временем женщина, хлопоча вокруг стола.

— Нет. Я одна осталась.

Хозяйка обернулась, и на красивом лице промелькнула тень.

— Доля у вас... — сказала она и покачала головой. — Ну, хоть несколько денечков отдохнете. Ты не робей только, не стесняйся. Я завтра блинов вам напеку со сметаной.

При мысли о таком роскошном лакомстве у Лесаны набрался полный рот слюны.

Хлопнула дверь, вошел Клесх:

— Иди, мойся. Я после пойду.

Дарина тем временем повернулась к мужчине и спросила:

— Ты надолго ли нынче?

Он подхватил с огромного блюда пирог, откусил и ответил жуя:

— Дней на пять. Говори, что сделать надо, где чего поправить.

Хозяйка улыбнулась, ласково провела ладонью по его щеке и сказала:

— Ничего не надо. Отдыхай.

Лесана никогда прежде не видела, чтобы женщина смотрела на мужчину так, как смотрит на Клесха Дарина. В ее взгляде было столько спокойной и незыблемой любви, словно она не знала и не видела в нем и малейших изъянов. Она была счастлива. Счастлива его приездом. Не *всего* на пять, а на *целых* пять дней, она спешила сделать все так, как он любит, чтобы за тот короткий срок, который он проведет дома, обласкать его на несколько месяцев вперед. И Лесана готова была поклясться — сдобные лакомства здесь последние седмицы пекли каждый день, чтобы хозяин, если вдруг приедет, поспел аккурат к щедрому

столу.

Тем временем крефф подхватил второй пирог и бросил его Лесане. Та поймала на лету.

— Что затихла, как мышь в клетке? — спросил наставник.

Выученица покачала головой и откусила кусочек. Она сроду не ела таких вкусных пирогов. С брусникой на меду...

Клесх закашлялся. Девушка вскинула глаза. Удивленно взглянула на наставника, лицо которого болезненно скривилось. Обернулась и хлопчущая у печи Дарина:

— Что?

Клесх с трудом сглотнул:

— И здесь...

— Что «и здесь»? — Женщина подошла, мягко тронув мужа за плечо. — Не вкусно?

— Грибы... — выдохнул крефф, указывая на начинку пирога.

Дарина засмеялась:

— Эльхит же любит... Что ты хватаешь все подряд, я ж нарочно их круглыми делаю!

В ответ на эти слова Клесх притянул к себе хозяйку и поцеловал.

Лесана покраснела и опустила глаза.

Когда девушка возвратилась из бани, распаренная, румяная, в длинной белой рубаше с хозяйкиного плеча, потянулся мыться и Клесх. Незаметно за ним следом выскользнула и Дарина, кивнув дочери, чтобы накормила гостью.

Лесана хлебала наваристые щи, заедая свежим ноздрястым хлебом, а напротив нее на лавке елозил Эльхит. Мальчишка не выдержал первым:

— А ты что ж — ратоборец?

Гостья кивнула. Говорить не хотелось, потому что пережитое потрясение, усталость и баня сделали свое дело — мысли в голове ворочались вяло, а в душе поселилось сонное равнодушие.

Клёна шикнула на брата:

— Твое какое дело? Не приставай к человеку. Видишь, устала с дороги.

Она старалась казаться взрослой, строгой, чем напомнила Лесане Стешку, которая тоже силилась держаться сурово и значительно, наставляя братца и младшую сестренку. Выученица Цитадели улыбнулась.

— У тебя и меч есть? — подался вперед мальчонок.

— Э-э-эльха... — протянула Клёна, и парнишка сразу скуксился.

— Есть. Только я тебе завтра покажу. Спать больно хочу.

Эльхит кивнул:

— Батя тоже, когда приезжает, первый день все спит. Как в вас только лезет, дрыхнуть так? Даже Клёнку вон, и то на столько не свалишь, а уж она спать мастерица у нас.

Сестра свела брови на переносице, и брат осекся. Лесана спрятала улыбку.

— Идем, я постелила, — поднялась Клёна.

Возле этой серьезной девочки с взыскательным взглядом темных глаз Лесана чувствовала себя ребенком.

— А что, отец часто у вас бывает? — осмелилась на дерзкий вопрос выученица.

Клёна посмотрела на нее все так же серьезно и ответила:

— Он мне отчим. Мой отец умер. Я его не помню. Но мама говорит, он был хорошим.

Клесх приезжает не часто.

Она так и говорила. Короткими скупыми фразами. Стеснялась, видимо, переодетую парнем чужинку. А, может, просто была не рада приезду отчима.

Брат вскинул голову от своей миски щей и ответил:

— Мама батю постоянно ждет. Ночами все плачет...

— Э-э-эльха... — и снова строгий взгляд Клёны осадил болтливового мальчика.

Лесана посмотрела на этих двоих, а потом повернулась к девочке и спросила:

— В лес завтра пойдем? За клюквой?

Клёна посмотрела удивленно, но кивнула. Она не понимала, отчего страннице, только-только оказавшейся в тепле и уюте, захотелось тащиться в мокрый лес по ягоды, но была рада уйти из дома. Не догадывалась, глупышка, что в точности такое желание снедало и Лесану, которая по-прежнему чувствовала в душе обиду на наставника. Не потому, что у него была семья, нет! Потому, что говорил, будто можно прожить без этого, будто не важно оно, а оттого должно быть забыто, словно глупость.

Слезы обиды на него и досады на себя, что поверила, поддалась обману, жгли глаза, горло сводило судорогой. Но девушка стиснула зубы.

— По ягоды? Я с вами! — тут же встрял Эльхит.

Но сестра посмотрела на него и твердо ответила:

— Нет. Ты останешься дома. Отец тебя давно не видел. И ты его тоже.

— Он все равно спать будет, — заныл мальчонок.

— Значит, по хозяйству маме поможешь, — отрезала сестра.

На этом спор был закончен, и Лесана легла спать, не дожидаясь возвращения Клесха и Дарины. На широкой лавке под меховым одеялом было уютно и тепло. В избе пахло пирогами, через заволоченное окошко доносились звуки дождя. Дом... Как могла она поверить, будто можно прожить жизнь, в которой нет места человеку, что тебя полюбит. И не просто полюбит, но будет ждать. Изю дня в день. Так, как Дарина ждет Клесха.

Лесана проснулась чуть свет. Будто Встрешник в бок толкнул, не давая понежиться, побаловаться покоем. В избе еще царил полумрак, но Дарина уже хлопотала у печи — беззвучно, чтобы не разбудить спящих. Оставалось только гадать, как умудрялась она отодвигать печную заслонку, подкладывать дрова, переставлять с места на место блюда и горшки так, что те не издавали ни единого громкого звука.

На лавке сопел Эльха, натянув одеяло на самые уши. Мерно дышала Клёна, намаявшаяся за вчерашний день, помогая матери. Спал, уткнувшись лицом в сенник, Клесх.

Дарина подошла к лавке, где отдыхал крефф, осторожно опустилась на краешек и, едва касаясь, погладила пепельную макушку. В этой ласке было столько затаенной нежности, столько любви, что у Лесаны сжалось сердце. Ей стало жаль эту красивую и такую одинокую женщину.

Вчера, досадуя на коварство наставника, девушка как-то совсем не подумала о хозяйке дома, которая выбрала нелегкую судьбу — впустить в свою жизнь воина Цитадели. Родить ему сына, чтобы потом одной растить, вести хозяйство, ночами ложиться в пустую холодную постель, а в помощь по дому зазывать соседей или дальнюю родню, которые за спиной у нее всяко перешептываются, мол, стала полюбовницей заезжему мужику, что когда захочет — явится, когда захочет — уедет. И нет ему дела ни до детей, ни до тяжелой бабской доли. Завянет вдовушка, так другую отыщет — мало ли у него их по другим-то деревням?

Не зная мыслей своей гостьи, хозяйка дома все сидела рядом со спящим мужчиной и

гладила его по волосам, счастливая тем, что тот, кого выбрало сердце, лежит рядом, что она может слушать его дыхание, прикасаться к нему и просто знать, что он цел и невредим, а не сгинул где-то в Ночи.

Верно, страшная доля у Дарины. Потому что она знает: однажды Клесх не придет. И ей приснится мертвая сорока с переломанными крыльями. А может, ничего не приснится. И она будет ждать. Месяц, другой, третий... надеясь, что он где-то в пути. Может быть, станет плакать, подозревая, что нашел другую. А может, поймет: ждать бессмысленно. И будет тихо увядать под косыми неодобрительными или жалостливыми взглядами сельчан.

От этих мыслей Лесане захотелось бегом убежать в чащу. Лучше уж прыгать с кочки на кочку под дождем, чем обо всем этом думать. И тошно так... Девушка села, нарочно громко шурша одеялом. Думала, Дарина не захочет, чтобы гостья видела, как она перебирает волосы креффа. Но женщина обернулась, не отнимая руки от пепельного затылка, и улыбнулась:

— Ты что так рано поднялась? Я только-только кашу поставила.

— Я подожду, — негромко ответила Лесана, все еще не понимая простой мудрости Дарины, не догадываясь, что она — из тех редкостных женщин, которые не стыдятся сделанного однажды выбора.

Она любила Клесха, ни от кого не скрываясь. Да, между ними не совершали свадебного обряда, но он был ей мужем, данным Хранителями, и эту правоту не смогли бы поколебать ни досужие деревенские кумушки, ни даже семь сотен сплетников и злоречивцев. Но всего этого Лесана еще не ведала. Оттого пока и казалась ей Дарина... обыкновенной, заслуживающей сострадания.

Клёна, услышав негромкий разговор, нарушивший тишину избы, тут же проснулась.

— Мы по ягоды-то пойдем? — спросила она, убирая со лба выбившиеся из косы прядки.

— Пойдем.

Они собирали спелую крупную клюкву в берестяные туески и почти не разговаривали. Молчали долго. Девочка нарушила тишину первой:

— Ты любишь Клесха? — Она спросила это так внезапно, что Лесана опешила.

— Люблю?..

— Да. Ты его любишь?

Выученица Цитадели прислушалась к себе. Нет. Не любит. И никогда не любила. По первости восхищалась, благоговела и впрямь будто бы хотела назваться его. Но... с той поры столько воды утекло. Она его не любила. Но и чужим не считала. Крефф себе на уме. Такого любить — все сердце надорвешь.

— Он мой наставник, — спокойно ответила Лесана.

Но Клёна не унялась, отставила в сторону туесок и с жаром заговорила:

— Нет, скажи, вот вообще любишь? Хоть как-то? Как брата, как отца?

Девушка снова помолчала. Как брата? Как отца?

— Нет. Не знаю. Я его давно не видела, с осени, и, когда уезжал, не сильно тосковала... другого лиха хватало.

Девочка сверкнула черными глазищами и быстро-быстро заговорила:

— Вот скажи мне, за что такого любить? Мама говорит, мол, вырастешь — поймешь. А я и нынче знаю, что не пойму! Он приезжает, когда хочет, несколько дней побудет — и был таков! А она ждет! Когда долго нет, все глаза на дорогу проглядит. Вот зачем он нужен? Жили без него и еще бы прожили! — В голосе падчерицы звенел гнев: видимо, побеседовать

О Клесхе ей было не с кем, матери подобные мысли она высказывать не могла, Эльхе тем более, а уж с подружками, если таковые и были, вовсе стыдно было делиться.

По всему выходило — Лесана стала первой слушательницей. Поэтому выученица Цитадели попыталась-таки обелить наставника, оправдывать которого после пережитого обмана ей, по чести сказать, вовсе не хотелось:

— Так у него же сын здесь. И маму твою он любит...

— Сын! — всплеснула руками девочка, чем еще больше стала похожа на взрослую. — Да он об нем три года не знал. Мне уж семь лет было, а Эльхе два, когда Клесх снова через деревню проезжал! Эльхит и слова-то «тятя» не знал тогда! А он приехал, увидел его во дворе, поднял как щенка, на руки взял и глядел долго-долго. Я испугалась, думала, тать какой. Побежала мать из бани кликать, она там рубашонки стирала.

Лесана слушала жадно, ее снедало любопытство: как же так получилось, что крефф, который говорил ей о невозможности Осенным иметь семью и дом, вдруг обзавелся тем и другим?

— Так он не знал?

Клёна сердито бросила в свой туесок горсть собранных ягод.

— Не знал. И не узнал бы, если б Встрешник его к нам не вынес на беду. После этого чуть не каждый месяц ездить стал. А что толку от него? Сначала спит, потом ест, а там и ехать пора...

В голосе девочки звенела обида на мать, на отчима, на жизнь, которая так с ней обошлась.

— Так уж и спит? — не поверила Лесана, которая не замечала за Клесхом столь вопиющей праздности.

— Ну... — замялась Клёна, — не прям уж постоянно. Но первый день окаянный лежит, как подстреленный!

Выученица Клесха не выдержала и рассмеялась. Клёна сначала посмотрела на нее сердито, а потом неуверенно улыбнулась и через миг тоже звонко захохотала. Они смеялись долго, и это словно бы на короткий срок сняло с душ обеих гложущую обиду.

— У мамы судьба нелегкая, — потом сказала серьезно дочка Дарины. — Ее дядька в закуп отдал, когда родители умерли. Семья у них большая была, да и у дяди немалая. Вот он старших-то взял и свез в город. Маму к гончару в подмастерья. Сестер ее в услужение в гостиные дома: полотеркой да судомойкой. Они в первый год сгинули: лихорадка весенняя задушила. Мама одна осталась. До пятнадцати лет работала, старалась, все жилы тянула, научилась даже горшки раскрашивать. А как закупная истекла, в деревню вернулась, но дядя сразу, чтобы лишний рот дома не держать, замуж ее отдал. Батя хороший, добрый был. Но у нас судьба горькая. Когда еще мама меня носила, умер он. Утоп. Без него она мыкалась. А потом однажды Клесх приехал. Говорила, увидел ее у ворот во вдовьем покрывале с кринкой в руках и спрашивает: мол, молоком угостишь? У нас корова одна была. Только ею и кормились. А вот ему на что молоко? Ехал бы к старосте да упился у него, проклятый. Нет, к нам потащился!

Девочка простодушно досадовала, рассуждая о непонятном ей, но столь очевидном для Лесаны.

— Я мала была, того не помню, а может, у дядьев тогда гостила. А потом он уехал, а мама в снежник Эльхита родила. Нарочно его так назвала... Именем этаким, чтоб на отцово похоже было.

Клёна поджала губы и закончила:

— Нам без Клесха твоего так живется хорошо... Вот ну что он ездит? Всю душу вымотал...

Она легко говорила взрослые речи и взрослые слова, не понимая, впрочем, их смысла, который для Лесаны-то как раз был ясен. Остановился как-то крефф у пригожей вдовушки на несколько дней. Эка невидаль. А вдовушка прижила младенчика. Дело тоже, скажем, не диковинное. Другое чудно: что крефф потом, когда снова в деревню попал, опять к вдовушке наведалься и, увидев мальчонку, не сгинул вместе с утренним туманом прочь, а, наоборот, остался.

Теперь Лесане многое стало ясно. Как сделалась ясна и обида Клёны, которая жалела мать и из-за этого так и не смогла принять бывающего наездами в доме мужчину. Девочка любила брата и хотела ему и себе настоящего отца — опору, защитника, а не такого, который раз в несколько месяцев только и навещается.

Домой ягодницы вернулись к полудню, как раз к пробуждению креффа и обещанным блинам. Дарина долго и слишком старательно восхищалась удаче девушек, принесших два туеса клюквы. Лесана поняла: мать делает все, чтобы дочь не чувствовала себя лишней и обделенной лаской. Потому-то Клёне досталось немало похвал и ни одного попрека. Хотя и попрекать ее было не за что, уж очень серьезной, степенной и основательной она была.

Эльхит при отце вел себя смирно, а Клёна, полная спокойного достоинства, старалась быть приветливой и покладистой, но все равно это носило у нее какой-то оттенок суровости. Нет, ревности в сердце девочки не было. Но досада на Клесха, хоть и тщательно скрываемая, все еще жила у нее в душе. И Лесана знала: крефф прекрасно все понимает.

...Они пробьли в веси седмицу. За эти дни отоспались, отъелись, наставник все свободное время проводил с сыном, им было интересно друг с другом; и Клесх, судя по всему, не тяготился обществом мальчишка, которого видел довольно редко и который мог бы его сильно утомлять. Крефф давал Лесане полную свободу, ни в чем ее не стесняя и ничего не требуя. словно не было в их жизни Цитадели, словно оба были обычными людьми, волею судеб вынужденными путешествовать и отдыхать вместе.

Уезжали они ранним утром. Клёна была весела, разговорчива и, только глядя на Лесану, грустнела. Они подружились. Настолько, насколько может подружиться наивно-рассудительный ребенок с девкой-воем.

Лесана боялась проводов, думала, вдруг Дарина начнет плакать, а в воздухе будет витать горькое предвестие разлуки. Нет. Хозяйка собрала странникам еды, наставляя Клесха, что, как и в какой черед лучше съесть, чтобы не испортилось. Она хлопотала, суетилась, забывая то одно, то другое, смеялась над собой и отвечивала легкие подзатыльники лезущему со всех сторон разом Эльхе...

Когда поклажа была собрана, а кони оседланы и взнузданы, пришел черед прощаться. Эльхит вдруг бесславно разревелся, размазывая по щекам слезы, и мигом посуровевшая Клёна увела его в избу, на прощанье помахав Лесане и отчиму рукой.

Дарина не проронила ни слезинки, не висела на шее, не причитала, не уговаривала, только обняла мужа перед воротами и сказала:

— Ты девочку береги, не обижай...

— Ее обидишь... — отмахнулся Клесх и рывком забросил себя в седло. Потом свесился, крепко поцеловал жену и произнес: — Теперь к концу ветреня жди. Не раньше.

Она улыбнулась и кивнула:

— Хоть к концу ветреня, хоть к началу студеника... Езжай уж, а то скоро смеркается...

Он усмехнулся и направил коня со двора.

— Лесана, ты сердца не держи на него, — обернувшись к девушке, сказала совершенно неожиданно Дарина.

— За что? — опешила странница.

— Он никому ничего сроду не объясняет. Все молчком. Все исподволь. Недоверчивый. Но тому причин много. А зла он никогда не сделает. Ни зла, ни подлости. Мира в пути.

— Мира в дому, — отозвалась Лесана, потрясенно глядя на женщину.

Как угадала хозяйка маленького уютного дома, какие мысли, какие обиды снедали девушку все эти дни? Сие осталось тайной. Однако Лесана ехала из деревни, упрямо кусая губы и собираясь высказать Клесху всё, что накопилось в ней за эти дни.

— Ты говорил, Осенным не положено иметь семью и дом, — пересушенным хриплым голосом начала девушка, глядя на дорогу и не решаясь смотреть на креффа. — А сам, сам...

— Я говорил?

От прохладного удивления в его голосе послушница встрепенулась.

— Говорил!

Он вскинул брови.

— Не припомню такого...

— Тогда, в Башне...

— Я говорил о тебе и твоих друзьях. Растолковывал, почему вам лучше не водить близкой дружбы: вою, колдуну и лекарке. Я ни слова не сказал про семью.

Она захлопала глазами, силясь воскресить в памяти их разговор.

— Но ты... ты говорил потом, в другой уже раз, что ратоборцу не положено...

— Цитадель запрещает обережникам обрастать семьями, — спокойно сказал крефф. — Это вдалбливают выучам с первых дней послушания. Я никогда не говорил тебе, будто с этим согласен. Лишь предупреждал, что семья и дети для нас — тяжкое бремя.

Лесана открыла было рот, чтобы уличить его в лукавстве, но тут же снова закрыла, потому что поняла: уличать не в чем, Клесх и правда никогда не настаивал на том, что насельник Цитадели не должен иметь семьи и дома. Лишь известил об этом, как заведено, но наставлениями не донимал.

— Все равно нечестно! — рассердилась послушница.

— Честно, — ответил мужчина. — Я предупреждал тебя о том, как это тяжело. Думаешь, мне легко оставлять их? Думаешь, нравится бывать в доме гостем — не мужем, не отцом, а переходим молодцом? И всякий раз видеть, как вырос за мое отсутствие сын, а падчерица стала еще угрюмее и враждебнее? Думаешь, я хочу себе, им и Дарине такой участи? Думаешь, живу только своими желаниями?

Выученица нахохлилась, пристыженная. Она уже пожалела, что вообще завела этот разговор. Но вдруг Встрешник за язык дернул:

— А как же Майрико?

Клесх натянул поводья, и лошадь под ним стала как вкопанная.

— Что?

Девушка покраснела и отвела взгляд.

— Мне Нурлиса рассказывала... — пробормотала она едва слышно.

— Ты забываешься, — сказал наставник.

Лесана, готовая провалиться сквозь землю, опустила голову еще ниже и пробормотала:

— Простите, крефф.

Он молча смотрел на нее, словно решая, как быть, но потом все же тронул поводья, заставляя лошадь двигаться вперед.

Некоторое время ехали молча. Потом крефф заговорил:

— Ты должна понимать одно. Семья для ратоборца — это страх. Постоянный страх потери. Мы защищаем чужих, но не окажемся в нужное время рядом с близкими, если беда постучится в их дверь. И что, если однажды ты приедешь, а твой дом разорен и все его обитатели погибли? Или вернешься, а твой дом уже не твой? Там обосновался новый хозяин — отец твоим детям, муж твоей жене. И ты не сможешь ее упрекнуть. Ты молча уедешь, потому что станешь лишним. И сам поймешь, что такой поступок будет единственным благом. Не всякая женщина будет из года в год ждать мужчину, навещающего только раз в несколько месяцев, да и то на пару дней. А в твоем случае, — он обжег выученицу взглядом, — уж тем более не всякий мужчина. Семья делает жизнь ратоборца сложнее, Лесана. И боли приносит больше, чем радости.

Его спутница молчала, потрясенная такой длинной речью.

— Но, если бы... было можно... она бы жила при Цитадели... — неуверенно заговорила девушка.

— Да. Если бы было можно, — согласился он. — Если бы не было Ходящих. Если бы ночь принадлежала людям. Если бы мы, словно дикие звери, не проводили большую часть жизни, скитаясь по лесу от деревни к деревне. Если бы Осененные жили как простые смертные, было бы можно. Но, увы... И с этим как-то надо мириться. Поэтому не повторяй чужой глупости.

Лесана кусала губы.

— Ты за этим меня привез, за этим показал их? — спросила она.

— И за этим тоже. Да и деть тебя некуда. А Клёне нужна подружка. Ей не с кем поговорить. Жалко девочку. Она знает цену моей глупости. И прощать не собирается.

Выученица открыла было рот, чтобы сказать ему, мол, семья не глупость, глупость — прожить жизнь, никого не сделав счастливым. Однако сообразила вовремя прикусить язык, понимая, как глупо прозвучат эти слова. Она помнила слезы Эльхи и глаза Дарины, стоящей в воротах и смотрящей вслед уезжающим. И как бы та ни улыбалась, как бы ни пыталась казаться спокойной, но скрыть боль, отражающуюся в этих глазах, было невозможно. Каждый раз, прощаясь с мужем, она прощалась с ним навсегда. Вряд ли это было похоже на счастье.

Три года — долгий срок. Сколькое за это время оказалось переосмысленным, сколькое сделалось понятнее. Теперь Лесана была уже не выученицей. Она была равной Клесху. И отношения их изменились. Сегодня девушка уже и на миг бы не задумалась, спроси ее Клёна: любит ли она своего наставника?

Любит.

Понимает ли его? Пожалуй.

Он был ей всем: отцом, матерью, братом, другом. Его дом стал ее домом. Его семья сделалась за три прошедших года и ее семьей тоже. А после того как Лесана побывала в родной деревне, она поняла окончательно — нигде ее не примут, кроме как здесь.

Дом... Девушка лежала, прикрыв глаза, наслаждаясь тишиной и покоем, воцарившимся

в груди. Ей было хорошо. Впервые за последние седмицы. Уютно. Тепло. Беззаботно.

Дом...

Рядом в ароматном сене нетерпеливо завозилось, зашептало:

— Да не спит же, не спит!

— А ну — цыц! Брысь отсюда, раз нейметя! — громким шепотом ответили ему.

— Не спит она, гляди, как дышит. Когда спит, грудь ровнее вздымается!

— Эльха, ах ты, сопля зеленая, на грудь он еще смотрит!..

— А на чего ж мне смотреть? — обиженно зашипел мальчонок. — На пятки ваши, которые с сушил торчат? Я им, дурындам, молока принес, а меня еще и лают?

Клёна снова на него шикнула, но паренек прошептал:

— Будешь нос задирать, скажу отцу, что ты с Делей целовалась. Он тебя мигом выпорот. — После этого Эльхит задумался на миг и добавил: — И его тоже.

Лесана не выдержала и рассмеялась. Потом открыла глаза и посмотрела на красную, словно брусничка, шестнадцатилетнюю девушку, сидящую рядом.

— Правда, что ли, целовалась? — спросила выученица Клесха.

Эльха, до этой поры стоящий на приставной лестнице и не решавшийся из-за сестриной строгости забраться внутрь, вскарабкался на сушила.

— Говорил же, проснулась... — пробубнил он, доставая из-за пазухи завернутую в холстину горячую ржаную лепешку, обсыпанную крупной солью. — Я им поесть принес, а они...

И паренек ловко расстелил на сене холстину, поверх которой утвердил крынку с молоком, деревянный ковшечек и принесенный хлеб. Лесана, зажмурив глаза, принялась. Хлеб благоухал домом, печью...

— Да не целовались мы! Нужен он мне больно, — тем временем проговорила Клёна, досадливо хмурясь. — Еле вырвалась от него, дурака. Пристал, как репей. «Сватать тебя придем», — передразнила она, по всей видимости, Деленю. — Я ему сразу сказала: как придете, так и уйдете, и чтоб мысли не держал.

Лесана смотрела на негодующую красавицу, улыбалась, а про себя думала, что еще год-другой — и очередь сватов выстроится, пожалуй, от Дарининых ворот до самого тына. Уж очень хороша была девка. Вылитая мать. Очи огневые, брови соболиные вразлет, кожа белая. О такой только песни слагать. Клёна, не зная, какие мысли одолевают гостью, ела лепешку, запивая ее парным молоком.

Эльхит тем временем развалился на сене, зажав в зубах соломинку, и смотрел в потолок. Лет ему было столько же, сколько и Русаю. Но от юного порывистого Остриковича мальчонок отличался редкостной рассудительностью и спокойным ровным нравом.

— Ну, допивай, чего тут осталось-то? — кивнула Клёна.

Лесана одним махом осушила крынку и снова откинулась на мягкое сено. Блаженствовать ей оставалось недолго. Они с Клесхом отдыхали в веси Дарины уже четвертый день и завтра должны были тронуться в Цитадель. Оттого хотелось сегодняшнее утро провести в безделье и неге. Прикрыть глаза и лежать, впитывая покой.

Увы. Который уже день девушке было в этом отказано. На душе скребли кошки — это беспокойная совесть точила Лесану изнутри. А виной всему был... Руська. Белобрысый Руська, всеми силами своей детской души мечтавший стать обережником. И Дар, горевший в мальчишке, который по дурости и бабской жалости затворила сестра. Правильно наставник говорил ей, мол, девки тем страшны, что сначала сделают, а потом уж думают. А то и

просто... только лишь сделают. Подумать же не удосужатся.

И она оказалась той глупой девкой, которая попустилась собственной жалостью, стыдом и неизбывной виной. Жалостью к родителям, которым выпадало на долю потерять единственного сына, да к тому же и поскребыша. Стыдом перед сельчанами и отцом-матерью, что возвратилась такая чужая им, непонятная. И виной. Глубокой дочерней виной перед семьей, кою опозорила на всю деревню, сделалась бельмом на глазу, которое и видеть противно и скрыть нельзя. Не девка, не парень; не дочь, не сын; не сестра, не брат; не близкая, не чужая.

Поддалась глупому порыву, заглушила голос совести, а когда из деревни выехала, оставив за спиной совершенное, тут же и осознала, что натворила. Она — обережница, крефф будущий, щит между людьми и Ночью! — преступила заповеди Цитадели, поставила свои желания превыше желаний тех, кого клялась защищать.

Бесстыжая.

От этих мыслей становилось горько. Расплата за содеянное досталась Лесане страшная — совесть терзала большее кнута. И тем страшнее становилось девушке, что понимала она: допущенную глупость исправить не вдруг получится. Когда она снова окажется у родного порога? В лучшем случае через год... Значит, до той поры не дадут ей стыд и память покоя. Хоть сегодня прыгай в седло и скачи во весь дух обратно!

Дура! Что ж за дура такая! И ведь наставнику душу не изольешь, совесть не облегчишь. Клесх, о таком если прознает, прибьет. И прав будет. Потому приходилось нести бремя собственной глупости в одиночку. Девушка успокаивала себя тем, что при первой же возможности выберется в родную весь, повидается с братцем и все исправит. Да только утешение это помогало ненадолго.

Что жила? Жилу открыть не сложно. Сложно — себе признаться, что способна на подлость, на глупость, на вероломство. Сама вот спорила с наставником, доказывала, будто любовь и дружба — сила великая, будто семьей обрасти — счастье. И не слышала, что Клесх говорил про страх, про слабость. Не переупрямить ее тогда было. Не понимала, бестолочь, какие великие силы душевные надо иметь обережнику, чтобы обзавестись семьей.

Теперь же вон как все получилось. Едва коснулось горькое лихо родной крови — ужом извернулась, чтобы себя уважить. Про долг и не вспомнила. Какой уж там долг! По правде пусть другие живут, а ей отца с матерью да сестер уберечь бы. До иных и дела нет. Сколько жизней Русай спасет, выучившись, плевать. Лишь бы на родной печке братец сидел. А сколько людей от того сидения без помощи сгинут — не Лесанина беда, её-то сродники надежно защищены.

Ох, как противна она себе стала! Ох, как мучилась... Утешалась лишь тем, что всякая боль — наука. Сейчас перетерпит с грехом пополам, зато другой раз умнее будет.

Покуда гостя терзалась муками совести, Клёна и Эльха беззаботно валялись рядом на сене. Им невдомек были ее страдания, и девушка даже мимолетно позавидовала обоим: их жизнь была простой, лишённой необходимости совершать страшный выбор. Все просто казалось в их мирке. Просто и ожидаемо.

К Клёне посватается парень из соседней деревни, сыграют свадьбу, дом поставят, родят ребятешек... Эльху через год-другой отец наверняка отправит в город вразумляться какому-нибудь ремеслу. И станет он спустя лет семь-восемь завидный жених, приведет в дом красивую девку и будут жить.

А Лесана так и продолжит скитаться. Возможно, станет тем самым креффом, который

сделает из Русая рагоборца. Возможно, сгинет однажды в Ночи. Девушка прислушалась к себе: становится ли ей тоскливо от этих мыслей?

Нет.

Все в жизни должно идти своим чередом для каждого. Для Клёны. Для Эльхита. Для Русая. Для нее. А если вдуматься — так ли желает она иной доли? Вряд ли.

Обережница перекатилась на живот, уткнувшись лицом в ароматное колючее сено. Завтра в путь. Цитадель ждет.

А по весне, когда снова можно будет наведаться домой, Лесана отворит жилу брату. И заберет его в крепость. Умиротворенная этими мыслями, девушка снова задремала. Она еще не знала — ничего из того, что она загадывала, нежась на сеновале, не сбудется. Поэтому сон ее был сладок.

Далеко от Цитадели

Тускло горел очаг. Зеленое пламя облизывало поленья, и те уютно потрескивали. Ребятишки играли на полу, вертели в руках соломенных кукол, говорили на разные голоса. В доме пахло кашей.

Слада ткала, поглядывая за Радошем, чтобы не подполз, глупый, близко к печи, не обжегся. Мальчик был пухлый, щекастый, толстопятый. Дети все наконец-то откормились. Исчезли тени вокруг глаз, скулы больше не выпирали с истощенных личиков, руки и ноги не казались тонкими и прозрачными. В жилу пошли.

— Ива? — приглушенный голос, раздавшийся от входа, заставил женщину вскинуть глаза.

Сдевой стоял в дверном проеме, тяжело опершись рукой о косяк.

— Ива?

Что-то в его голосе заставило женщину медленно отложить челнок со вздетой в него нитью.

— Она во дворе... — мягко, едва слышно ответила Слада. — Во дворе.

И медленно, очень медленно наклонилась, поднимая с пола малыша. Потом так же медленно разогнулась, держа ребенка на руках.

Дети, игравшие у очага, отчего-то застыли, глядя на стоящего в дверях мужчину, которого давно и хорошо знали. Дядька Сдевой смотрел в стену. И лицо его было застывшее, словно мертвое.

— Дяденька, — негромко окликнула мужчину девочка лет пяти, — ты заболел?

— Заболел... — неживым голосом ответил мужчина, по-прежнему глядя в пустоту. Высокий, широкоплечий, он загородил собой весь проем — не обойти.

Слада теснее прижала к себе Радоша, начавшего недовольно хныкать. Малышу хотелось ползти, и он дал это понять, выгибаясь у матери на руках.

— Тсс... — по-прежнему негромко сказала мать.

Непонятно было, к кому она обращается — к меньшему мальчику или ко всем ребятишкам сразу.

В избе стало тихо-тихо. Дети медленно отползали за спину Слады. Сдевой стоял не шевелясь.

Лихо страшное. Неужто и тут настигло? Ребятишки только-только во сне кричать перестали. За что же им это? Едва обжились. Едва вздохнули свободно. Да когда же все закончится?! Сладу начала бить едва заметная дрожь. Ужас матери передался ребенку,

который перестал наконец рваться с рук и затих, прижавшись к мягкой груди.

— Ива во дворе, Сдевой, — опять заговорила женщина. Негромко. Певуче. — Хочешь, Юна позовет ее?

Он не выпустит женщину. Но еще может выпустить ребенка. Надо попытаться. Иначе все равно погибнут.

— Хочешь? — мягко спросила женщина, отыскивая глазами старшую дочь.

Девочка закусила побелевшие от страха губы.

— Пусть позовет... — эхом отозвался Сдевой.

Он стоял обманчиво расслабленный, отрешенный, страшный.

— Юна, кликни Иву, доченька... — попросила мать. — Не бойся, иди. Иди, не торопись.

Женщина не говорила. Она словно пела, почти не делая пауз между словами. Сердце билось где-то у самого горла, сознание затапливал ужас. Юна... доченька...

Остальные ребяташки затаились, не решаясь даже плакать. Только бы молчали... Только бы никто не закричал...

[Купить полную версию книги](#)